

ИВАН ДРОНОВ

РУССКИЕ И КАПИТАЛИЗМ

КАПИТУЛЯЦИЯ КОНСЕРВАТОРОВ

*И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.*

С. А. Есенин

В современной России консервативная идеология приобрела довольно широкую, хотя и поверхностную общественную популярность. В больших количествах переиздаются тексты полузабытых и совсем забытых дореволюционных правых деятелей и публицистов. Пишутся диссертации о консерваторах прошлого, создаются и функционируют всевозможные клубы, институты и центры по изучению и пропаганде консервативных идей в настоящем. Существуют, впрочем, маловлиятельные политические партии, воспроизводящие правомонархические организации начала XX века а la “Чёрная сотня”. Правящий режим, в условиях острой аллергии российского общества на всё, что носит признаки с треском провалившегося либерального проекта, с одной стороны, и вполне естественной неприемлемости для этого буржуазного режима социалистической красной идеи – с другой, настойчиво заигрывает с консервативной традицией в видах заполнения своей зияющей идейной пустоты и убожества. В этом заигрывании, в обращении к лучшему в отечественном историческом наследии, может быть, и не было бы ничего дурного, если бы не возникал далеко не праздный вопрос: какую функцию, кроме декоративной, могла бы выполнять идеология консерватизма, воспринятая от дореволюционных правых, при нынешней российской власти и при том общественном строе, который она олицетворяет и на страже которого она стоит? И второй вопрос: кто в современной России, кроме на всё согласного чиновничества, реально способен выступить в роли социального субъекта консерватизма, понимаемого не как сохранение наличествующего status quo, а как воскрешение духовной традиции консерваторов-монархистов классического XIX века? Поломать голову над тем, как повенчать “розу белую с чёрною жабой”, как изящно сочетать “Православие, Самодержавие, Народность” и “Россию для русских” с диктатурой олигархического капитала, мы предоставим специально обученным “придворным” идеологам и политехнологам. Хотя ответ на эти вопрошания заранее представляется сколь очевидным, столь и неутешительным для всех энтузиастов консервативного возрождения... Намного полезнее и поучительнее обратиться к анализу причин краха дореволюционного правомонархического движения, когда консервативная идеология

Продолжение. Начало в № 1, 2, 6 за 2013 год.

была не гомункулом, выращиваемым в интеллектуальных лабораториях, а живой непрерывной традицией, веками и поколениями укоренённой в сознании десятков миллионов русских людей, имевшей за собой солидный материальный и организационный ресурс, выдвинувшей немало ярко одарённых мыслителей и пропагандистов... И так безоговорочно осрамившейся в 1917 году.

Момент кристаллизации российской консервативной идеологии можно отнести примерно к середине 70-х годов XIX века. В 1860-х годах, в эпоху “Великих реформ” Александра II, в русском обществе сохранялся определённый консенсус по некоторым базовым вопросам эпохи. Практически никем не подвергалось сомнению благо освобождения крестьян от крепостной зависимости с наделением их землёю (хотя имели место дискуссии относительно некоторых подробностей реформы). Все те, кто впоследствии зарекомендовал себя столпами консерватизма, искренне приветствовали освобождение крестьян отнюдь не только по мотивам верноподданной лояльности. Будущий обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) в 1861 году ещё не превратился в “русского Торквемаду” и не простирал над Россией “совиных крыл”, а со слезой писал о Манифесте 19 февраля: “Мы до сих пор ещё недостаточно оцениваем всю важность этого перелома. Но, Господи Боже мой, какая великая перемена! Каково же — подумайте: в России нет крепостного права!.. Никто не будет слушать по принуждению”. Благоговейно называя день опубликования Манифеста “Александровым днём”, Победоносцев всячески превозносил либерального императора: “Что бы ни сделал он ещё, как бы ни ошибался, имя его будет великое имя в истории, и не только у нас — везде — друг человечества помянет это имя с благодарностью”¹. В конце 1850-х годов Победоносцев посылал А. И. Герцену в Лондон обличительные материалы с уничтожающей критикой русского судебного устройства и высокопоставленных коррупционеров из Министерства юстиции, а в начале 1860-х принимал самое активное участие в правительственных комиссиях по подготовке новых, едва ли не самых либеральных и прогрессивных в Европе Судебных уставов, вступивших в силу 20 ноября 1864 года.

Это много позднее консерваторы третиrowали Судебные уставы 1864 года как списанные с западной шаргалки — французских и сардинских судебных учреждений, а суд присяжных оказывался “подходившим к русской жизни, как к корове седло”². Но в 1860-х годах даже такой великий изобличитель российского подражательства и дурной болезни “европейничанья”, как Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885), в своей знаменитой книге “Россия и Европа” (1869) похваливал судебную реформу и суды присяжных: “Суд присяжных по совести есть начало по преимуществу славянское, сродное со славянским духом и характером, так что на основании его Хомяков выражал мысль о славянском происхождении англосаксов... Следовательно, мы только возвратили своё”. “Великой освободительной реформой нынешнего царствования” называл Данилевский также “освобождение печатного слова от уз цензурных”. “Свобода слова, — писал он, — не есть право или привилегия политическая, а право естественное. Следовательно, в освобождении от цензуры по самой сущности дела не может уже быть никакого заимствования с Запада, никакого подражания; иначе и хождение на двух ногах, а не на четвереньках, могло бы считаться подражанием кому-нибудь”³.

Всеобщее одобрение и надежды вызвало и введение в 1864 году новых выборных всеобщих органов местного самоуправления — земств. Будущий *enfant terrible* русского консерватизма — князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) — писал 16 октября 1868 года цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III): “Земство, по-моему, выше всех реформ царствования, после крестьянской она не может сравниться ни с одною, с Петровского до нашего времени, по своему значению в настоящем и для будущего; ибо она имела счастье быть с самого начала реформой чисто русской, не смешанной ни с какими западными политическими примесями, а по тому самому сроднившейся с Россиею во всех её слоях и сферах. Крестьянин так же, как и высший по образованию гражданин, одинаково доступны земству, так же как и земство доступно столь же крестьянину, сколько боярину и священнику”⁴.

В реформах 1860-х годов будущие наши консерваторы хотели видеть осуществление славянофильской мечты о преодолении трагического национального раскола петербургского периода русской истории — раскола на озапад-

нившуюся элиту и попираемый ею православный крестьянский люд, отчуждённый верхами и от собственной культуры, и от благ западноевропейского просвещения. Им рисовалась картина межсословного единения и дружной общенародной работы во имя вернувшейся на свой исконный путь России. Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), ещё один столп русского консерватизма, вполне разделял эти радужные настроения в 1860-х годах: “Я, подобно людям славянофильского оттенка, — писал он 20 лет спустя, — воображал почему-то, что наша эмансипация совсем не то, что западная; я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, представят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод даже, русского хорошего хозяйства, наконец!..”⁵.

Совершенно очевидно, что и тогда, в 1860-х годах, будущие консерваторы, благодушно относясь к преобразованиям, отнюдь не вкладывали в них никакого буржуазного содержания, отреклись от малейшего намёка на подражание западной модели модернизации, предполагающей резкое классовое расслоение, воцарение капитала и пролетаризацию народных масс. По их убеждению, совершающиеся реформы призваны были оздоровить отношения *верхов* и *низов*, открыть дорогу общенациональному развитию, снимающему межклассовые противоречия. Н. Я. Данилевский писал об имеющем место “нравственно-политическом единстве и цельности русского народа”. Условия же такого нравственно-политического единства, дающие “превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие в самые консервативные те именно общественные классы, которые угрожают Европе переворотами, заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении”⁶. Под сенью патриархального самодержавия этот общественный строй в “Дневнике писателя” Ф. М. Достоевского за 1881 год отливался в формулу “русского социализма”, противопоставляемого западным формулам материалистического и атеистического прогресса: “Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасётся лишь, в конце концов, *всесветным единением во имя Христова*”⁷.

Н. Я. Данилевский тоже подчёркивал несовместимость русского коммунального идеала, консервативного и охранительного по своей сути, который лишь оберегал искони существующую у славян общинную поземельную собственность, с западными социалистическими учениями, нацеленными на радикальные перевороты в отношении собственности, на экспроприацию и насильственный передел чужого имущества. Мессианское, всесветно-спасительное значение славянскому культурно-историческому типу, считал Данилевский, обеспечит “знамя, на котором будет написано: Православие, Славянство и крестьянский надел”⁸.

Как казалось в 1860-е годы, крестьянская и другие реформы, удовлетворив жизненные потребности всех сословий и открыв пути свободного развития лежавших под спудом народных сил, принципиально изменили и общественную роль дворянства. Совершив по доброй воле освобождение от крепостного права с пожертвованием на общее благо существенной части своих привилегий, оно из класса угнетателя получило прекрасную возможность превратиться в класс, объединяющий русское общество и ведущий его к процветанию, притом опираясь не на политическое или экономическое господство, а исключительно на моральный авторитет. “Главное политическое значение крестьянской реформы состоит в том, что она освободила поместное дворянство от того условия, которое отделяло его интересы от общих интересов народа. Отныне поместное дворянство становится тем единственным классом русского общества, которого интересы сливаются с интересами всех других сословий и который не может иметь своих отдельных интересов, более дорогих ему, чем общие государственные”⁹, — так писал в своей газете “Московские ведомости” в 1865 году даже не склонный к увлечениям Михаил Никифорович Катков (1818–1887). А славянофильский трибун Иван Сергеевич Аксаков в своей газете “День” предлагал институционально закрепить этот новый статус дворянства — соли земли, “осоляющей” общенародное земское целое, — и призывал его “торжественно, пред лицом всей России, совершить акт уничтоже-

ния себя как сословия”, “чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия России”¹⁰.

Увы, преувеличенные надежды на разрешение реформами 1860-х годов основных противоречий внутри русского общества, которое обеспечит единодушие и сплотит народ в некое бесклассовое целое, очень скоро обнаружили свою иллюзорность. Такое внепартийное всенародное единство может поддерживаться какое-то время только в том случае, если вершки и корешки, кнуты и пряники распределяются равномерно во всём обществе. Когда же кнуты в основном достаются одним, а пряники и бублики – другим, то процесс классового и партийного размежевания становится естественным и неотвратимым. Именно это и произошло в России вслед за коротким периодом эйфории от реформ 1860-х годов. На место противоречий и язв феодально-крепостнического строя тут же явились противоречия и язвы капитализма, ещё более острые и болезненные. Перефразируя Евангелие, можно сказать, что *по изгнанию одного нечистого духа (крепостного права) в чисто выметенном и прибранном российском доме водворились семь злейших.*

Конкретно для дворянства эти злые духи воплощались в неуклонно увеличивающейся ипотечной задолженности, образовавшейся вследствие лишения имений дарового труда крепостных и необходимости добывать отсутствующий оборотный капитал у банков; в стремительно расширяющейся сети железных дорог, которые своими тарифами поставили на колени сельскохозяйственных производителей; в протекционистской промышленной политике правительства, превращавшей аграриев в данников индустриального сектора. Наконец, в “монетаристской” финансовой политике, которой придерживалось российское правительство с 1860-х годов и которая увенчалась введением золотого стандарта рубля в 1897 году. Такая политика обуславливала “дороговизну” денег на русском рынке, грабительские проценты на кредит и проигрышные условия для экспортёров, каковыми преимущественно выступали сельские хозяева, то есть помещики. В совокупности эти “злые духи” пореформенной эпохи вели дело к разорению поместного дворянства и утрате им политической и культурной гегемонии в пользу финансовой и промышленной буржуазии.

Не замечать этих убийственных для дворянства последствий “Великих реформ” в середине 1870-х годов уже было нельзя. В 1876 году в С.-Петербурге издатель журнала “Гражданин” князь В. П. Мещерский опубликовал книгу-манифест под названием “Речи консерватора”. В этой книге Мещерский констатировал, несколько сгущая краски, что за последние “20 лет чуть ли не половина дворянских имений перешла в руки купцов”, а само благородное сословие, устыдившись своего крепостнического прошлого, сдало страну ошалевшим либералам, “присыпало себя персидским порошком и, подобно мухам зимою, замерло ногами кверху”. Идея торжественного дворянского самоупражнения в слиянии с раскрепощённым народом теперь трактовалась Мещерским как постыдный акт “самооплевания дворянства”, добровольно уступившего свою многовековую роль руководителя и воспитателя русского общества толстопузому купчине, кувшинорылому чиновнику, кулаку и кабатчику. И вот пока “помещик отрастил себе брюхо под вицмундиром чиновника, под фраком куртизана, под сюртуком концессионера или пиджаком банкового деятеля, помещицы дома стояли заколоченными, и пока во всех городах открывались банки и конторы железнодорожных обществ, пока рельсы клались и станции строились, пока школы возводились в сёлах, из глубины жизни рождалось понятие о сокращении церквей по ненадобности, и народ, только что освобождённый, выходил из кабака с понятием о новом виде крепостного права – под названием кабалы у кулака”.

Эта новая социальная реальность рисовалась в “Речах консерватора” как предельно дегенеративная и безнадежная: “Всё валится, всё рушится, всё извращено, всё изуродовано, всё проникнуто какою-то безумною любовью ко всему, *чего нет*, и ненавистью ко всему, *что есть*”. Виною тому – 20-летняя либеральная свистопляска, которая свихнула набекрень мозги русской интеллигенции, поставила под сомнение самые фундаментальные религиозные, семейные и гражданские ценности, хаотизировала все общественные институты. В результате в России сложился дикий, противояственный порядок вещей: “Духовные семинарии должны воспитывать священников, а поставляют нигилистов; учреждения, как банки и железные дороги, должны служить для поощрения промышленности и торговли, а между тем служат только для

обогащения своих акционеров и для притеснения тех, на пользу которых они урезаются, и так до бесконечности — везде и всё вверх дном”.

В таких-то гибельных, по его разумению, обстоятельствах Мещерский обратился к русскому обществу со словами о необходимости “консервативной реакции”, призвал здравомыслящих людей, не поддавшихся всеобщему либеральному умопомрачению, “кричать, кричать и кричать во имя консерваторских идей”, пока ещё не стало слишком поздно. Спасение от неминуемого краха России князь видел в возрождении лидерских позиций поместного дворянства. Стоит дворянину-помещику перестать “либеральничать и служить мамоне” и начать “дело делать, быть честным и никому не кланяться, кроме Бога, никому не служить, кроме Отечества и царя”, как “он сделает первый шаг к восстановлению своего влияния на Россию как дворянин”. Особенно большая ответственность перед народом лежит на поместном дворянстве в деревне, где ему противостоит “купец-землевладелец”, который “за немногими исключениями живёт только для себя и смотрит на крестьян как на источник беспредельной эксплуатации не только вне законов политической экономики, но вне законов человеколюбия”. Борьба между ними неизбежна, ибо “помещик-дворянин и купец-землевладелец — это два антипода, диаметрально друг другу противоположные и органически друг другу антипатические”¹¹. Защитить меньшую братию от капиталиста-кровососа — такая задача предстоит благородному российскому дворянству, которое веками привыкло смотреть и на свою службу России, и на свою хозяйственную деятельность на земле не с точки зрения бухгалтерского баланса, а с точки зрения патриотического сердечного чувства. “Другого консервативного начала, кроме помещиков, и притом крупных, с преданиями от предков о чести и любви к родной земле, право, быть не может”¹², — заключал свои размышления князь Мещерский.

Книга Мещерского “Речи консерватора” наделала немалый скандал. На неё обрушился град насмешек и критики со стороны либеральной печати. Само название книги было сочтено “вызывающим”. Однако опубликование “Речей консерватора” знаменовало собой выход на арену общественной борьбы в России консервативной партии, не боящейся либеральной обструкции и открыто называющей себя по имени, вполне осознающей свою классовую природу и готовой к борьбе с прямо указанным социальным антиподом — буржуазией.

Журнал князя Мещерского “Гражданин”, который издавался в 1872–1878 и в 1882–1914 годах, стал в 1870–1880-е годы центром притяжения для тех консерваторов-монархистов, которые не только тяготели к сакраментальной уваровской триаде “Православие, Самодержавие, Народность”, но и отдавали себе отчёт в том, что в современных условиях именно от развития капитализма исходит самая непосредственная и опасная угроза для традиционных устоев. Наиболее яркими и одарёнными мыслителями консервативного направления, чья деятельность оказалась тесно связана с “Гражданином”, были Фёдор Михайлович Достоевский, Константин Николаевич Леонтьев и Константин Петрович Победоносцев. Достоевский в 1873–1874 годах работал главным редактором журнала, именно на страницах “Гражданина” впервые появился его знаменитый “Дневник писателя”. После ухода из “Гражданина” автор “Дневника писателя” сохранил самые приятельские отношения с Мещерским. Вплоть до своей смерти Достоевский по-прежнему оставался желанным гостем на “литературных средах” у князя¹³ и, возможно, продолжал анонимно сотрудничать в “Гражданине”¹⁴.

В 1880-е годы “Гражданин” стал надёжным пристанищем для такого “литературного изгнанника”, как К. Н. Леонтьев. На страницах журнала публиковались лучшие произведения Леонтьева, сделавшие его имя широко известным в России. Мещерский весьма гордился сотрудничеством с Леонтьевым. В 1887 году он докладывал Александру III, что “около “Гражданина” успел устроиться кружок таких сильных дарованиями и прекрасного направления сил, что это одно уже есть глубоко отрадное явление”, и среди них — “Леонтьев, который из Оптиной пустыни пишет замечательные статьи и проснулся во всей силе своего оригинального и громадного таланта”¹⁵. На страницах “Гражданина” творчество Леонтьева была дана высочайшая оценка задолго до того, как общественное мнение признало в нём выдающегося мыслителя, и, что важно, ещё при жизни этого “неузнанного гения”. “Леонтьев если не по количеству, так по качеству своих произведений не только ни в чём не уступает самому

Тургеневу, но и во многом превосходит его”, – говорилось, например, в статье “К. Н. Леонтьев как беллетрист”¹⁶. Однако, по мнению Мещерского, “как публицист Леонтьев имеет ещё большее значение. Сборник его рассуждений, изданных под заглавием “Восток, Россия и Славянство”, а также “Византизм и Славянство”, должны быть настольною книгою всякого русского человека”¹⁷.

Самое близкое участие в деятельности журнала “Гражданин” принимал и Константин Петрович Победоносцев – фигура символическая для русского пореформенного консерватизма. Занимая пост обер-прокурора Святейшего Синода (1880–1905), Победоносцев являлся ментором двух последних российских императоров – Александра III и Николая II – и оказывал существенное влияние на внутривластный курс правительства, особенно в 1880-х годах. В эти же годы он фактически был неофициальным руководителем “Гражданина”, активно вмешиваясь в его редакционную политику. Именно в “Гражданине” Победоносцев печатал свои статьи, которые составили впоследствии его “Московский сборник” (1896), ставший своеобразной “суммой” консервативной идеологии. “Московский сборник” выдержал пять изданий ещё до революции и многократно был переиздан уже в наши дни. Знаменитый очерк Победоносцева “Великая ложь нашего времени”, разоблачавший продажность буржуазной парламентской системы и порочность самого принципа представительной демократии, был опубликован в “Гражданине” в № 24 от 10 июня 1884 года.

Сильные позиции Победоносцева в правительстве позволили Мещерскому с согласия императора Александра III получить казённую субсидию для “Гражданина”. Размер этой субсидии в 1882–1887 годах составлял 3 тысячи рублей, ежемесячно выдаваемых князю; из сумм Министерства внутренних дел в 1887–1895 годах Мещерский получал дополнительно ещё 30 тысяч рублей в год. Рептильное положение его журнала нисколько не смущало Мещерского. На все намёки и укоризны в продажности он отвечал вопросом: “Если хамы нашей печати находят светлыми деньги, идущие на жидовские издания из разных банков, то интересно было бы понять, почему деньги, идущие от правительства на помощь хорошим изданиям, должны быть признаны тёмными?”¹⁸. И эта отповедь Мещерского либеральной прессе, несомненно, имела некоторый резон.

В 1880–1890-х годах “Гражданин” возглавил поход консерваторов против “злых духов” российского капитализма, каковыми они представлялись с точки зрения помещичьего дворянства: железных дорог, фабрично-заводской промышленности, банков и бирж, золотого стандарта, иностранного капитала, буржуазной этики и эстетики.

Согласно известной песенке середины XIX века, при виде железной дороги “веселится и ликует весь народ”. Однако, как и всякое нововведение, железная дорога вызвала не только благонамеренный восторг. Нашлись и у неё недоброжелатели и хулители. В знаменитой драме А. Н. Островского “Гроза” (1859) Кабаниха и странница Феклуша с ужасом толкуют о том, как в столицах “огненного змия стали запрягать”, усматривая в этом явный признак наступления “последних времен”. Один из героев романа Достоевского “Идиот” (1868) тоже сравнивал сеть железных дорог в Европе с апокалиптической “Звездой Полярной”, знаменующей дьявольскую одержимость современной буржуазной цивилизации. Позднее консерваторы дали и более серьёзную критику железнодорожного “Вавилонского столпотворения”¹⁹.

Достоевский в своём последнем “Дневнике писателя” за январь 1881 года отмечал паразитический генезис железнодорожной отрасли в России, жирующей за счёт планомерно разоряемой деревни. “На разрушенное землевладение и создались железные дороги”, считал Достоевский, они “все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее”, что повлекло за собой и кардинальные социальные изменения и перераспределение власти. И ныне – “не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими?”²⁰.

В 1886 году в сборнике своих произведений “Восток, Россия и Славянство” К. Н. Леонтьев опубликовал статью “Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни”. Полностью солидаризируясь с мнением епископа Никанора (Херсонского), Леонтьев целиком включил его речь, напечатанную первоначально в “Православном обозрении” (октябрь 1884), в свою статью. В речи преосвященного,

в частности, анализировалась экологическая катастрофа, радикально изменившая ландшафт и топографию русского пространства вследствие строительства железных дорог: “Еще живое поколение, – говорил Никанор, – видело неисходные, почти неизмеримые чащи лесов, а теперь что? На пространстве от Оренбурга до Одессы наблюдательный путник не видит ни одного даже молодого перелеска. Путник этот ещё видел целые пущи тысячелетних деревьев-громадин, годных на корабли и прочее. Всё пожрано, особенно же около железных дорог”.

Железные дороги и промышленность высасывают и земные недра, отравляют водные источники, оставляя вокруг себя *лунный пейзаж*. Вымирает животный мир, в лесах и рощах уже не услышишь пения птиц за отсутствием какой-либо растительности. Загаженная, истощённая хищнической эксплуатацией земля отказывается родить, и это грозит человечеству голодным мором. Кроме того, говорил епископ Никанор, “для человека истощение лесных чащ губительно и тем, что эти массы самой цветущей зелени производили массу живительного кислорода и озона, которые так необходимы нам для здорового дыхания, которые, оживляя и укрепляя силы человека, наоборот, губительно действуют на незримые массы вибрионов, подрывающих в самом зерне человеческую жизнь и порождающих повальные болезни”. Епископ высказывал серьёзное опасение, “как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавает только отошальный всеядный человек, как голодный паук, не имей кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзал всё живое на поверхности всей земли...”.

Вызывала сомнение у Никанора возможность достижения с помощью железных дорог даже тех утилитарных целей, ради которых они вроде бы и создавались: “Везде на Руси, где пока не было железных дорог, там жизнь была проще и дешевле. А как только появится железная дорога, сейчас же все ценности возвышаются, прежние способы истощаются, новые если и увеличиваются, то создают собой и новую потребность, напр<имер>, потребность виноградных вин, которой ещё деды, да даже и отцы наши, не ведали, равно как новые потребности и в других заморских вещах, без которых легко обходились. Таким образом, железная дорога, в существе дела, нигде и не возвысила благосостояния, чувства довольства, покоя и счастья, напротив, породила всюду тревогу, потребность в средствах жизни, погоню за наживою”²¹.

В свою очередь, известный философ В. С. Соловьев, до середины 1880-х годов близкий к славянофильским кругам, также разделял озабоченность консерваторов вторжением железных дорог в русскую жизнь. Его тревожили те же негативные последствия их распространения – социальные, моральные и экологические. В статье “Еврейство и христианский вопрос” (впервые напечатано в “Православном обозрении” в 1884 году) он оценивал железнодорожную сеть как важнейший элемент капиталистической модернизации России, и оценка его была предельно жёсткой: “Разрастание наших городов (особенно в последние тридцать лет) породило лишь особую буржуазную цивилизацию с её искусственными потребностями, более сложными, но отнюдь не более возвышенными, чем у простого сельского народа... Промышленность служит не земле, а городу, и это ещё было бы не беда, если бы сам город служил чему-нибудь хорошему. Но в действительности наши города вместо того, чтобы быть первыми узлами социального организма, скорее похожи на вредных паразитов, истощающих народное тело... Более вреда, чем пользы, приносят земле и важнейшие изобретения и открытия, которыми гордится наш век, например, железные дороги и пароходы. Кажущаяся выгода, доставляемая ими всей стране (облегчённый сбыт земледельческих продуктов), решительно перевешивается *вредом*, который они наносят самому земледелию; говоря “вредом”, я употребляю слишком слабое выражение, ибо скоро для всех станет ясно, что распространение этих столь удобных средств сообщения есть *гибель* нашего земледелия. Железные дороги беспощадно пожирают леса, и без лесов наша огромная континентальная равнина рано или поздно (скорей рано, чем поздно) обратится в бесплодную пустыню”²². С В. С. Соловьёвым был полностью согласен и К. Н. Леонтьев: “Построилось вдруг множество железных дорог, стали вырубаться знаменитые русские леса, стала портиться почва, начали мелеть и великие реки наши. *Эмансипированный русский*

человек восторжествовал над своей родной природой — он изуродовал её быстрее всякого европейца”²³.

В 1885 году с анализом духовно-нравственных последствий технического прогресса выступил ещё один философ из консервативного лагеря — П. Е. Астафьев. Он обратил внимание на то парадоксальное обстоятельство, что с развитием техники, ростом благосостояния и комфорта ощущение счастья и удовлетворенности жизнью лишь уменьшается, а тоска, подавленность и даже отчаяние современного человека увеличиваются, превращаясь в повальное душевное расстройство. Причиной этого расстройства Астафьев считал в том числе и изменение пространственно-временных условий жизни. Уплотнение времени и сжатие пространства посредством техносферы отражалось в психике человека невероятным ускорением смены образов, впечатлений и настроений, которых она была уже не в состоянии усвоить и переварить. “Какую степень утомления, тоски и скуки может вызвать в душе даже вполне здорового человека слишком быстрая смена столь же быстро возникающих, как и исчезающих впечатлений, — писал Астафьев, — об этом может судить каждый из нас, кому приходилось несколько дней подряд пролетать через Европу в вагоне из одного края в другой”. Философ сформулировал даже некий психологический закон, согласно которому “свойства всей нашей душевной жизни стоят в тесной зависимости от скорости в смене наших ощущений, мыслей, чувств и стремлений, которые, переходя за известный предел, меру, приводят неизбежно к ненормальным, болезненным результатам”.

В числе средств, ускоряющих перемены в пространственном и социальном положении лиц, предметов и информации, а следовательно, и увеличивающих общественную патологию, Астафьев называет “ежедневно разрастающиеся во всех направлениях железные дороги, телефоны и телеграфы”; “всё более и более ускоряющие, расширяющие и облегчающие денежные обороты банки и биржи”; “всё более и более открывающие чуть не всякому и облегчающие доступ ко всякой профессии, всякому обществу, всякому общественному и политическому положению разнообразные формы самоуправления и конституции”; “всё более и более упраздняющие личную волю, личный труд и личное творчество, всё с меньшей затратой душевной работы доставляющие нам всё большую массу почти дарового комфорта машины и технические изобретения”.

Возможно ли, вопрошал Астафьев, “избежать этой перспективы постоянного возрастания, параллельно росту наших технических богатств, всякого рода страдания человека нашего времени, его скуки, тоски и всё более выходящего за пределы душевного расстройства”? Заключается ли выход в том, чтобы “уничтожить зараз самую причину этого смешения, скуки, тоски, обессиления и безумия, — то есть, сметя сразу с лица земли все эти плоды работы нашего времени: железные дороги, телеграфы, газеты, банки, конституции, самоуправление и т. п., восстановив во всей целостности “блаженную старину”, когда всех этих сокровищ у человека ещё не было, а он сам был счастливее и спокойнее, и здоровее душевно, чем теперь?”²⁴.

В “Гражданине” на это вопрос отвечали утвердительно. Здесь также связывали возникшую социально-психологическую дисгармонию с ускорением движения человека в физическом и социальном пространстве и расстройством его внутреннего хронометра, не приспособленного к подобным скоростям. “Нормальный человек XVIII века, — писал сотрудник “Гражданина” И. И. Кольшко, — если он был обеспечен в своих физических потребностях, не метался как угорелый и не отступал от своего мирозерцания иначе, как под давлением великой идеи и сильной воли. Современный нормальный человек, даже сытый и жирный, — вечно в движении, вечно в погоне за чем-нибудь, а мировоззрение его с каждым поворотом фортуны меняется, как калейдоскоп”. Это явление закономерно, ведь человек традиционного общества, живший в условиях натурального аграрного хозяйства с замкнутым циклом производства и потребления, легко находил гармонию своих желаний и способов их осуществления. Натуральное хозяйство обуславливало возможность каждому самостоятельно “удовлетворять всем своим потребностям”, что, как убедительно показал писатель-народник Г. И. Успенский в очерке “Трудами рук своих” (1884), давало крестьянину ощущение свободы, полноты и цельности своего бытия, позволяло “жить свято”, никого не эксплуатируя и никому не кланяясь, кроме Бога и природы.

Капиталистическое хозяйство, напротив, исключает состояние равновесия. Необходимость получения прибыли вынуждает его к постоянной экспансии вовне, к захвату новых рынков и ресурсов. Человек капиталистической эпохи, чьи желания раздражены и раскалены докрасна промышленным изобилием и рекламой безграничного потребления, в большинстве своём не располагает достаточными средствами для удовлетворения своих похотей. Конкурентная гонка ещё усиливает этот дисбаланс. В результате выходит, что «всё, что делает счастливым современного человека, лежит вне его личности: специальные науки, которых он нахватался вчера, сегодня могут оказаться недостаточными; капитал может погибнуть от случайности; положение, сан, чин – от каприза начальства. То счастливое равновесие между мечтой и действительностью, которое носил в себе нормальный человек прошлого века, далеко отлетело от современников наших: их счастье меряется не покоем, а движением (вперёд) и равновесие ищется не между душой и телом, а между потребностями тела и бюджетом»²⁵.

Чем комфортнее и безопаснее становится жизнь человека, тем болезненнее терзает его душу невротический страх: «Человечество, создавшее пар, электричество, открывшее микроба и застраховавшее себя, казалось, от гнева Божеского и человеческого, в безумном страхе мечется от возможности умереть, обеднеть». Выход из этих социокультурных противоречий капиталистического общества виделся только один: «Для борьбы со страхом надо обрезать телеграфные проволоки, закрыть биржи, парламенты, газеты, остановить фабрики и заводы, взорвать железные пути, словом, отодвинуться на сто лет назад, глядеть почаще на небо и больше презирать землю»²⁶.

Буквально то же самое предлагал Г. И. Успенский для спасения русского крестьянского жизнеустройства, традиционного «русского земледельческого типа»: «Для этого необходимо уничтожить всё, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделывающие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т. д.»²⁷. «Утишить это воспалительное, горячее кровообращение дорог, телеграфов, пароходов» советовал и К. Н. Леонтьев²⁸. «Мирные изобретения (телефоны, железные дороги и т. д.) в 100 раз вреднее изобретений боевой техники, – утверждал он. – Последние убивают много отдельных людей, первые убивают шаг за шагом всю живую органическую жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государства и быта... «Древо познания» и «Древо жизни». Усиление движения само по себе не есть ещё признак усиления жизни. Машина идёт, а дерево стоит»²⁹. К тому же, «все эти изобретения выгодны только буржуазии; выгодны *средним* людям, фабрикантам, купцам, банкирам, *отчасти* и многим учёным, адвокатам, одним словом, *тому среднему классу*, который... является главным врагом царей, положительной религии, воинственности и дворянства»³⁰.

Расставание с этими мнимыми благами научно-технического прогресса, по мнению В. П. Мещерского, пойдёт только на пользу человечеству. «Народы, клонящиеся, посреди развалин своего прошлого, к западу своей жизни, возрождать усовершенствованными умывальниками и ватерклозетами нельзя, – писал князь, – их возрождать можно только здоровую духовную жизнь»³¹. Ведь «наука с прогрессом материальным не несёт улучшения нравов», а «для того чтобы проповедовать братство народов или права человека, ни апостолы, ни философы не нуждались в телеграфе; миллионы его проволок служат по преимуществу биржевой плутне и газетной болтовне о политической игре нравственных лилипутов»³².

Развитие железнодорожного транспорта вообще не являлось, с точки зрения Мещерского, насущной экономической задачей в России. Он даже сомневался в том, что железная дорога оказывает «благоприятное действие на страну, в которой она проходит». По его наблюдениям, «железная дорога убивает всё до неё бывшие народные ресурсы промысла и заработка там, где она проходит: село, деревня, местечко – всё беднеет и рушится»³³. В железных дорогах консерваторы видели «могучие губки, высасывающие из народа всё патриархально-стройное, поэтичное и даже физическое»³⁴.

«Первобытное состояние аграрной России», которое признавали в «Гражданине», обрекало её на роль внутренней колонии для современных секторов экономики. И произошло это именно вследствие «внезапной постройки же-

лезных дорог в России, которые, создав промышленность и торговлю и содействуя их развитию, проявили обратное и изнурительное влияние на земледелие, земледелие и сельское население России³⁵.

Весь курс на капиталистическую индустриализацию России признавался в журнале Мещерского глубоко ошибочным и даже антинародным. “Всякий раз, когда интересы сельского хозяйства сталкиваются с интересами промышленников, — всё оказывается на стороне этих последних, — возмущался “Гражданин”. — Между тем можно был бы ожидать совершенно обратного, ибо сельским хозяйством у нас живут более ста миллионов или более 85 проц[ентов] населения³⁶. Успехи на пути покровительства промышленности, несмотря на гигантские жертвы, были, с точки зрения Мещерского, довольно сомнительны. Машиностроение, для развития которого ущемлялись интересы аграриев, составляло в начале XX века, как указывал “Гражданин”, лишь 1/40 часть всего промышленного производства в стране. Производимая отечественным машиностроением продукция дорогостояща и низкокачественна. “Мы не хотим, — категорически заявлял Мещерский, — чтобы под покровительством русской промышленности разумелось предоставление русским фабрикантам монополии своих изделий с правом делать какую угодно дрянь и обзывать русского человека её покупать волею-неволею³⁷”.

Именно к этому, по мнению князя, привела протекционистская политика министерства финансов под управлением И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, воплотившаяся в запретительном тарифе 1891 года, в разработке которого деятельное участие принимал Д. И. Менделеев. “Первый и главный практический результат этого менделеевского тарифа, — писал князь, — есть недобросовестность наших фабрикантов, — я слишком учтив, чтобы сказать: мошенничество³⁸. Мещерский считал, что приобретение покровительственной таможенной политики ничтожны, а издержки — громадны. “Можно с уверенностью сказать, — утверждали в “Гражданине”, — что если б те же жертвы приносились государством на пользу сельского хозяйства, какие приносятся для насаждения у нас промышленности, то благосостояние народа от этого выиграло бы во много раз³⁹”.

Введение запретительных тарифов привело к таможенным “войнам” с Германией, крупнейшим экспортёром в Россию промышленной продукции, что привело к разрыву давнишних торгово-экономических связей между двумя странами. А следовало бы, как утверждали консерваторы, наоборот — пойти на значительные уступки Германии по тарифным вопросам, снизить пошлины на ввоз германских промышленных изделий в обмен на режим наибольшего благоприятствования для сбыта в Германию русских сельскохозяйственных продуктов⁴⁰. При этом развитие отечественной промышленности не пострадало бы, за исключением разве того, что “барыши нашего машиностроения должны будут при более свободном ввозе иностранных машин поубавиться, а само производство должно будет стать менее небрежным, но то и другое послужит лишь на благо”. Рост промышленности должен быть не самоцелью, а естественным последствием расширенного воспроизводства в аграрном секторе экономики, развитию которого следует уделять преимущественное внимание. “В связи с мерами к большему вывозу нашего хлеба и с уничтожением пошлины на сельскохозяйственные машины и орудия, — обещал “Гражданин”, — покупная способность нашего сельского населения увеличится хоть настолько, чтоб обзавестись необходимейшими железными орудиями, один ремонт и возобновление которых вызовет большее потребление русского железа, чем это было доселе⁴¹”.

С точки зрения Мещерского, неприемлемы форсированные, подстегиваемые властной рукой темпы индустриализации, искусственное насаждение самых передовых современных форм промышленного производства в патриархальной стране. Это порождает глубокие диспропорции в народнохозяйственном организме и влечёт за собой неизбежные социальные катаклизмы. Усиленная перекачка средств из сельскохозяйственной сферы в промышленную ценой разорения деревни приводит к подрыву воспроизводственной базы самой промышленности. Мещерский оплакивал “миллионы, ухлопанные на этот искусственный прогресс мануфактуры и отнятые от земли”. Такая экономическая политика представлялась ему неоправданной и губительной. “Будь эти миллионы добыты от избытка доходов с земли, — рассуждал он, — можно было бы мириться с этим прогрессом мануфактуры, но ужасно то, что

они отняты у нуждающейся земли... И что же выходит? Земледелие умирает, земледельцы разорены, и, вследствие этого, мануфактура, раздутая на счёт земледелия, начинает падать и разоряться за неимением заказчиков и покупателей". Вывод напрашивался сам собою: "Если бы деньги, ушедшие на мануфактуру, пошли бы на земледелие, оно бы теперь было бы цветуще... и, вследствие этого, явились бы естественные нужды в мануфактуре, рост которой стал бы прочен, так как он соразмерялся бы с потребностями народа и с состоянием земледелия. Ведь не ситцевая фабрика даёт возможность мужику купить себе ситцу для рубахи, а только земля"⁴².

Мещерский, впрочем, отдавал себе отчёт в том, что открытие внутреннего рынка для заграничной промышленной продукции привело бы к частичной или полной деиндустриализации страны: "А завтра отмените протекционизм, — писал он, — и три четверти наших фабрик закроются". Его, однако, подобная перспектива не особенно пугала, поскольку он считал, что крупные предприятия в этом случае будут успешно замещены кустарной промышленностью, которую угнетают фабрики и заводы⁴³. А от этого интересы большинства населения, состоящего из мелких производителей, только выиграют.

Приоритет сельскохозяйственной отрасли в народном хозяйстве являлся для князя аксиомой. "В хлебе наша сила, в хлебе богатство России", — звучало рефреном в журнале Мещерского. Именно в производстве хлеба русские "могли бы с наибольшим успехом состязаться на мировом рынке". Однако препятствует этому "слишком усердная погоня за промышленной самостоятельностью, требующей от нас громадных непосильных жертв"⁴⁴. Тягаться с развитыми индустриальными державами России не под силу, считали в "Гражданине". К тому же, "все промышленные товары имеют ограниченный район сбыта, но хлеб никогда не выйдет из моды. Вследствие естественных условий климата и почвы, мы ещё на многие столетия будем для Европы поставщиками хлеба"⁴⁵.

Агитация консерваторов за сохранение земледельческого характера экономики России объяснялась, в первую очередь, именно политическими мотивами, ведь "земледелие по природе своей строго консервативно, чуждо спекуляции, держится строгим строем и расчётом на долгие сроки, которых не терпит капиталистический оборот"⁴⁶. В условиях же "капиталистического оборота", свободных рыночных отношений земледелие неизбежно должно было оказаться в кабале у банка и сделаться придатком промышленности, утратив свой консервативный потенциал. "Город с его лихорадкой наживы и промышленных успехов высасывает из деревни её жизненные силы", — отмечалось в "Гражданине"⁴⁷. Мещерский был не одинок в своём алармизме, находя единомышленников в лагере социалистов-народников. "Хозяйственная деятельность всё более и более направляется в сторону хищнической эксплуатации сельского земледельческого населения торговым городом"⁴⁸, — писал, например, видный народнический экономист Н. Ф. Даниельсон.

Сетования Мещерского на подавление промышленностью "земледельческого дела", бесспорно, во многом отражали истинное положение вещей. Советский историк Г. П. Рындзюнский в своём исследовании "Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века" на богатом фактическом материале убедительно показал, что "селения и города с развитием капитализма не сближались друг с другом. Наоборот, нарастала противоположность города и деревни с подчинением последней городу"⁴⁹. Сельское хозяйство России служило донором финансовых и трудовых ресурсов для городской капиталистической промышленности, не получая адекватного возмещения.

Перспектива превращения России в страну хлебной монокультуры Мещерского нисколько не смущала. Именно в сельскохозяйственном производстве он видел основную роль России во всемирном разделении труда: "Россия сегодня, как и сто лет назад, — писал он, — призвана производить хлеб, чтобы кормить себя и Европу, а Европа призвана покупать хлеб на деньги, добываемые её фабричным, заводским и ремесленным трудом". Ему казалось возможным "держат всю хлебную торговлю в Европе в руках и ставить Европу в полную зависимость от нашего хлебного богатства"⁵⁰. В 1891 году, когда писались эти строки, Россия переживала голодный год, и она как никогда была далека от предназначенной ей Мещерским роли. Однако князь не считал свои замыслы маниловщиной. По его убеждению, истоки всероссийской голодовки надо искать только в том, что хлебное дело в стране отдано на про-

извол рыночной стихии. “В настоящее время, — писал он, — характер хлебной торговли до такой степени изменился, что на хлеб уже нет хозяина, то есть разума, знающего, когда нужно хлебу выжидать, когда нужно его продавать и как продавать, а есть только процедура скорейшего сбыта хлеба отовсюду через целую вереницу комиссионеров... Легко себе представить, что это превратившееся в хаос хлебное дело в России является одною из важных причин общего экономического упадка в государстве, где 9/10 рабочих рук доселе посвящены работе на земле”⁵¹.

Единственным настоящим хозяином хлеба в России, способным здраво и рачительно им распорядиться, могло быть только государство. Поэтому, считал князь, на любые операции с хлебом необходимо ввести такую же государственную монополию, какая введена Витте на водку⁵². Первоочередную задачу Мещерский видел в том, чтобы “сословие хлебных торговцев было совсем уничтожено, и посредником между помещиком и Европою и потребителем в России стало правительство посредством громадной, повсеместной агентуры элеваторов и складов”⁵³. Подобная мера, очевидно, послужила бы также к выгоде помещиков, которые получили бы гарантированный сбыт хлеба по монополюно высокой цене.

В развитие этой темы Мещерскому приходит в голову “мысль оригинальная и смелая, но в то же время верная”. Суть этой мысли “заключается в том, что хлеб должен быть в руках Русского правительства, — именно Русского, так как Россия одна из всех государств Европы представляет такое колоссальное из себя земледельческое царство, — таким же фондом и таким же регулятором его торговых и кредитных отношений к Европе, как и деньги. С этой точки зрения, так как Государственный банк является средоточием всех денежных отправлений Русского государства, — хлебные государственные склады должны быть постоянным средоточием другой активной русской экономической и даже политической силы — хлеба”.

Организация казённых зернохранилищ и создание государственного стратегического хлебного запаса позволит, по мнению Мещерского, решить ряд проблем, а именно: “1) государственное продовольствие всегда обеспечено от всяких случайностей неурожая и всех разнообразных его последствий; 2) государство раз навсегда полагает конец спекуляции на хлеб и всяким видам разоряющего народ хлебного кулачества; 3) государство всегда имеет на случай — чего не дай Бог — войны громадные резервы хлеба для дополнения того хлеба, который имеет в своих складах военное ведомство; 4) в случае нужды в хлебе за границею, Россия имеет всегда возможность не только регулировать доставку хлеба в нуждающиеся местности в Европе, но реализовать посредством государственного хлеба в данную минуту ту или другую для нас выгодную кредитную операцию, как, например, уплату процентов по долгам хлебом”⁵⁴.

Давая волю фантазии, Мещерский выдвигал смелую идею о введении своего рода “поземельной” или “хлебной” валюты в глобальном масштабе взамен золотого стандарта. Ведь, как полагали в “Гражданине”, золотое содержание денег не отражает никакой экономической реальности и служит лишь увековечению гегемонии промышленно развитых держав и международной финансовой олигархии. Господство финансового капитала, безличного и космополитического, спекулятивного и паразитического, закабаляет и истощает, по мнению Мещерского, главные производительные силы — человека и землю. И он предлагал: “Для борьбы с капиталом, то есть с золотом, которое по мере того, что дорожает, всё сильнее угнетает землю, необходима конкуренция общего международного кредитного обменного денежного знака, обеспеченного землёю, который должен служить для земельной промышленности тем же двигателем или нервом, каким служит золото для заводской и фабричной промышленности”. “XIX век работал для капитала, и земля работала для него; XX век, — провозглашал князь, — призван работать для земли и против капитала”⁵⁵.

Понимая, что золотой стандарт является одним из мощнейших инструментов втягивания национальных экономик в мировой капиталистический рынок, Мещерский обрушился с резкой критикой на денежную реформу С. Ю. Витте 1897 года. “Это направление вашего ума на золото... это масонский замысел”, — писал он Витте, заклиная оставить “пока не поздно это дело”, которое осчастливит только “людей золота, банки, евреев и масонов”,

отдав “100 миллионов тёмного народа на бесконечную эксплуатацию будущих гешефтов на золото”. “С введением золотого обращения, — предостерегал Мещерский, — вы лишаетесь средств регулировать денежное обращение и от себя передаете регулирование самому золоту, то есть всем около золота и из-за золота бушующим страстям и спекулянтам... Жиды станут хозяевами денег в России вместо вас, и вы обратитесь из русского министра финансов в их приказчика...”

По мнению Мещерского, введение золотого стандарта рубля приведёт к закабалению России иностранным капиталом, так как Россия “слишком экономически слаба и всё ещё не вышла из неумелого и непрочного положения недоноса”⁵⁶. Поэтому, был уверен князь, “в день принятия мер к введению золотой валюты начнётся неравный бой между двумя воюющими сторонами: между министром финансов с его усилиями поддерживать золотое обращение и между всеми банкирами мира — это русское золото изъять из обращения в России и перевести за границу, и что вторая сторона в сто миллионов раз сильнее победить первую”. Исход этой борьбы заранее предreshён вследствие того, что “золото в стране с фиксированными курсами будет всегда предметом вождения для стран со свободным курсом, а потому всегда будет уходить из первой в последние”⁵⁷.

Вместо установления разорительного для государства золотого обеспечения князь Мещерский рекомендовал, “когда нужны деньги, поступать казне так: выпустить столько, сколько нужно, кредитных билетов”⁵⁸. Проблемы инфляции и поддержания курса рубля вследствие подобной финансовой политики, по его мнению, не могло возникнуть. “Выпуск кредитных билетов есть внутренний заём, основанный на историческом и несокрушимом доверии народа и государства к своему Государю! — уверял Мещерский Александр III. — Нужны деньги — должны быть деньги, как только эти деньги нужны для блага государства и интересов правительства. Бояться Европы вряд ли основательно. Жжём ли мы кредитные билеты или делаем мы их, где Европе это знать и проверять! Главное, чтобы в России не было застоя в нуждах и в промышленной жизни”⁵⁹.

Подобные идеи о финансировании экономического роста путём беспроцентных внутренних займов популяризировались в “Гражданине” ещё в начале 1870-х годов. Позднее, в преддверии денежной реформы 1897 года, доказательству преимуществ бумажного обращения посвятил немало сил и энергии Сергей Фёдорович Шарапов. Его известная книга на эту тему “Бумажный рубль. Его теория и практика” (СПб, 1895) первоначально печаталась отдельными главами именно в “Гражданине” в 1892–1893 годах⁶⁰.

В 1892 году на страницах “Гражданина” был напечатан любопытный трактат “В чём природа денег?”, автор которого, В. В. Ярмонкин, безапелляционно заявлял, что “политическая экономия ответа на этот вопрос не даёт или даёт совершенно ложный”. Все объяснения природы денег от Аристотеля и Ксенофонта до Адама Смита и В. П. Безобразова, по мнению Ярмонкина, “сущий вздор”. “Книжники и фарисеи”, начётчики и “талмудисты” от науки, а также журналистская “литературная тля” подкуплены плутократией и сознательно наводят тень на плетень в этом вопросе. Взвзвись раскрыть глаза “трудящемуся и эксплуатируемому человечеству” на тайну денег, Ярмонкин утверждал, что единственно справедливой формой обмена является натуральная, а “*денег не должно быть*”. Монетизация обмена, искусственная привязка денег к металлическому содержанию и наделение их собственной стоимостью произвели разрыв между производством и потреблением, и этот разрыв заполнили финансовые паразиты, наложившие лапу на сферу обмена: “В экономической жизни людей явление одно: “обмен продукта на продукт”, а людской самообман сделал из этого явления два. Теперь два человека: А и Б, из коих А имеет хлеб, но не имеет платя, а Б имеет платя, но не имеет хлеба, — не могут обменяться между собою, а *должны* ждать третьего человека, имеющего монету, и заплатить этому третьему комиссионный процент. В этом-то и заключается вся ложь, *насилие над природой* явления обмена”. Монетная система порочна не только тем, что даёт простор эксплуатации производителя посредником, но и тем, что сдерживает развитие производства, порождая бесконечные экономические кризисы. “Вы только подумайте, — восклицал Ярмонкин, — какие страшные миллиарды человеческого труда затрачиваются совершенно даром для того только, чтобы народить монету, а главное, что

прогресс человечества не может идти настолько, насколько он уже развился, а должен сообразовываться с количеством монет в жизни, иначе этот неодушевленный жид закричит *о перепроизводстве и о лишних людях!*.. Жид и монета регулируют развитие человеческого гения!..⁶¹.

В качестве средства против этого извращения естественного хозяйственного порядка Ярмонкин предлагал организацию “государственных торговых складов”. Суть идеи заключалась в том, чтобы частный производитель сдавал свою продукцию (прежде всего, разумеется, хлеб, но также и сахар, нефть, уголь, железо, медь и т. д.) в “закрома” государства, получая соответствующее количество “товарных” обменных знаков, чтобы затем приобретать за них на государственных же складах необходимые ему предметы⁶². Таким способом достигалась “смычка” производства и потребления, сбалансированность рынков и возможность устойчивого экономического роста. Одновременно уничтожались “те страшные пути в виде монетной системы, которые закабаляют человека, которые не позволяют жить человеку так, как он хочет, как велит ему его совесть, а заставляют его жить путём, указанным королями денежных бирж, процентщиками бесплодного металла”⁶³.

Разумеется, это могло быть задачей только на весьма отдалённую перспективу, а в качестве ближайшей практической меры консерваторы предлагали российскому правительству произвести национализацию кредитно-финансовой системы. Ещё в 1873 году в “Гражданине” была опубликована на эту тему работа М. Степанова “Плутократия”. “Кредит, – утверждал автор, – есть *мысленное* государственное богатство, общее и неделимое гражданское достояние, источник государственной власти и орудие государственного управления в хозяйственном отношении”. То есть кредитно-финансовая система является таким же государственным институтом, выполняющим общезначимые социальные функции, как, например, вооружённые силы или судебные учреждения. Поэтому “неделимость таких государственных богатств, каковы кредит, суд и войско, и необходимость общности владения ими всеми подданными составляют, очевидно, такое их свойство, которое ни под каким видом не допускает никого из подданных распоряжаться которыми-либо из них как своею собственностью”. Это, по Степанову, правильная система государственного управления. Если же происходит приватизация или узурпация какого-либо из трёх элементов власти частными лицами, государство утрачивает часть своего суверенитета. А “единовременное присутствие двух властей в государстве *никогда* ещё не обходилось без тайной или явной вражды их между собою”, ставящей общество на грань гражданской войны.

Именно так случилось в западных капиталистических странах. “Цивилизаторы Англии и Франции, – писал Степанов, – никогда не смотрели на кредит как на государственное богатство, которым никому, кроме правительства, *нельзя распоряжаться или управлять*, а, напротив того, всегда смотрели на него как на *товар*, которым можно предоставить каждому подданному право распоряжаться и управлять как своею собственностью, (по своему усмотрению)”. Вследствие чего “меньшинство среднего сословия (известное в прежнее время под именем ростовщиков, сборщиков податей, менял, ажиотёров и банкиров, а в настоящее время известное под общим и никому не понятным именем финансистов, и всегда состоявшее частью из туземцев и частью из евреев и других иностранцев) захватило в свои руки разными путями, с согласия и без согласия правительств, сначала торговлю кредитом, а потом и исключительное право распоряжаться и управлять этим общенародным достоянием как своею собственностью, по своему усмотрению”.

Опираясь на свое финансовое могущество и прикрываясь конституционными декорациями, крупная буржуазия подминает под себя государственную власть. Об этом красноречиво свидетельствует опыт тех же Англии и Франции, где “всегда было *два* управления: одно – которое, управляя судом и войском, называло себя *правительством*, другое – которое, управляя кредитом, называло себя представителем народа, но которое, в сущности, всегда было ничем иным, как хозяйственным правлением, состоявшим из *меньшинства* среднего сословия или финансистов, <o> е<сть> было *плутократиею* или правлением богатых людей; что же касается до *народного* представительства, то в действительности, как всем знающим историко хорошо известно, оно никогда не существовало ни в Англии, ни во Франции. Везде, где было учреждено народное представительство, везде разного рода системы подкупок

всегда господствовали над волею избирателей”. Засилье плутократии ведёт к резкой поляризации общества и росту социальной напряжённости. Поэтому будущее государств, попавших в кабалу “плутократов-финансистов, называющих себя либералами”, “не обещает ничего, кроме взрывов, восстаний и революций более грозных и более кровопролитных, чем те, какие они до сих пор испытали”.

В России процесс формирования плутократии ещё не зашёл так далеко, как на Западе. Однако реформы царствования Александра II уже создали благоприятные условия для стремительного возрастания могущества торговцев кредитом. В 1859 году под влиянием “умозрений западных финансистов” государство отказалось от монополии поземельного кредита, воспользовавшись чем, финансисты “путём учреждения *акционерных поземельных банков* начали делить русское землевладение по отношению к кредиту на части, начали отделять землеладельцев от их общей русской землевладельческой семьи, делать их единично своими *должниками* и, эксплуатируя их собственность, ставить их под своё кредиторское *владычество*”. То же самое происходит и в области промышленного кредита.

Торговля кредитом, частная собственность на деньги, по убеждению Степанова, разрушительна для национальной экономики и государства, а выгода лишь международной финансовой олигархии: “Страшный наплыв к нам евреев и других иностранных финансистов, банкиров, ажиотёров, спекулянтов, присоединение к ним всякого звания русских финансовых дельцов и купное их всех быстрое обогащение ясно доказывают, что *финансистам вполне дозволено почитать кредит в России не государственным богатством, а товаром, не общим и неделимым гражданским достоянием, а собственностью тех финансистов, которые его захватят в своё распоряжение, не источником государственной власти правительства, а источником власти финансистов, и, наконец, не орудием государственного управления, а орудием плутократии для безнаказанной эксплуатации благосостояния всех русских граждан, не занимающихся вредною для государства торговлею кредитом*”⁶⁴.

Верховной российской власти, полагал Степанов, необходимо опомниться и вернуть кредитные операции в исключительное ведение государства, иначе ему грозит вырождение в буржуазно-плутократический режим. Поэтому издатель “Гражданина” князь Мещерский категорически возражал против любых попыток акционирования Государственного банка (или, как он выражался, попыток “переустройства государственного банка в кулако-русско-еврейский”⁶⁵), видя в этом покушение на прерогативы самодержавной власти в финансовой сфере. Князь настойчиво требовал возвращения государству монополии кредитных операций: “Оставайся банковое дело, как это было до разрешения частным лицам открытия земельных и учётных банков, разных контор и ссуд, исключительно в крепких руках правительства, конечная задача которого — достижение и упрочение государственного благосостояния, а не ненасытные стремление к наживе посредством эксплуатации всех и всего, — отечественные землевладение, промышленность и торговля не были бы в настоящем жалком и безвыходном положении. Во всяком случае, масса народного капитала, переплаченного по всевозможным банковым операциям, будучи государственным доходом, увеличила бы собою народное достояние, а не ушла бы в бездонные карманы жидов, плутократов, разных аферистов и за границу...”⁶⁶.

От взгляда Мещерского не укрылось, что сфера обращения современного капитализма, привнесённая в Россию из развитых стран Запада, угнетает и разрушает традиционные отрасли российской экономики, сохранившие много докапиталистических черт, прежде всего сельское хозяйство: “Банки, биржи и вообще частная предприимчивость, — писал он, — живёт и богатеет на счёт полного бессилия внутренней производительности”⁶⁷. Как один из тягчайших пунктов обвинения на страницах “Гражданина” фигурировало то, что “банки являются палачами помещиков”. Оплакивая участь заёмщиков ипотечных кредитных учреждений, Мещерский писал: “Как русалки коварные, эти банки заманили в свои трясины несчастных землевладельцев, и они потонули в их объятиях”⁶⁸. Тем самым, тихо и незаметно, под личиной объективного экономического процесса размывалась социальная база и подтачивались устои самодержавия намного глубже, чем это могли бы сделать прокламации и бомбы революционеров.

“Биржа очень похожа на столицу сатаны, именуемую Монте-Карло с его рулеткой”⁶⁹, — считал Мещерский. “Биржевая эпоха теперь у нас ненормальна, — констатировал князь в период грюндерской лихорадки середины 1890-х годов, — её можно назвать, скорее всего, болезненной. Болезнь заключается в дутости всех почти цен на бумажные спекулятивные ценности... Эта дутость цен — опасный симптом положения вещей, и не минует день, когда все эти ни на чём не основанные высокие цены сразу падут страшно, и тогда биржа будет подобием Геркуланума и Помпеи — от прошлого останутся только развалины”⁷⁰.

Когда же предсказанный им финансовый коллапс произошёл и разразился экономический кризис 1900–1903 годов, князь выразил убеждение, что в “сто тысяч раз лучше быть спасаемым от банковских крахов опекою правительства над банками, чем быть панурговым стадом в руках безответственных вампиров-банков”⁷¹. Способы к этому предлагались князем в духе будочника Мымрецова: “Стоило бы правительству поставить по городовому в каждый банк с лозунгом *цыц*, чтобы нам прекратить эти спекулятивные шалости и стать на путь более благоразумного и более производительного для государственной экономической жизни обращения с деньгами”⁷². Меры государственного вмешательства предлагались и для “обуздания биржи”⁷³. По поводу исхода борьбы капитала и самодержавия в “Гражданине” выражали сдержанный оптимизм: “В борьбе, переживаемой ныне человечеством за власть или за деньги, последнее слово далеко ещё не сказано, и победа власти может оказаться столь же неожиданной и полной, какую нынче празднуют деньги”⁷⁴.

В целом, рассуждения консерваторов относительно борьбы со “злыми духами” капитализма могут показаться наивной “реакционной романтикой”. Отчасти так оно и есть. Действительно, трудно представить, как смогла бы Российская империя в конце XIX столетия существовать в качестве независимого государства в условиях натурального хозяйства, “обрывания” телеграфных проволок и разрушения железнодорожных путей. Давлению мировой капиталистической системы не смогла бы противостоять одна страна, даже такая большая, как Россия. Необходимы были могущественные союзники, целая коалиция государств, разделяющих традиционные ценности и способных совместно оказывать сопротивление торгашеской цивилизации. Между тем виттевская политика промышленного протекционизма, золотого стандарта и привлечения иностранного капитала неизбежно приводила Россию к столкновению с её традиционным партнёром и союзником — Германией — и бросала в объятия западных буржуазно-либеральных (“жидо-масонских”, в терминологии консерваторов) демократий — Франции и Англии. Уже в 1893 году был заключён русско-французский военный союз против Германии, а в 1904–1907 годах, с присоединением к нему Англии, сложилась Антанта, втянувшая Россию в ненужную ей и погубившую её Первую мировую войну. Консерваторы, особенно “Гражданин” князя Мещерского, уже в 1880-х годах резко выступали против противостественной ориентации традиционалистской самодержавной России на атлантический Запад в надежде получить от него капиталы, займы и инвестиции для насаждения отечественной капиталистической промышленности.

Гораздо органичнее, с точки зрения консерваторов, был бы союз с монархической Германией, где, как и в России, помещичий класс (юнкеры) ещё сохранял политическое господство, а в общественной жизни преобладал консервативный дух, который Освальд Шпенглер охарактеризовал как “прусский социализм” (1920). В этом “прусско-социалистическом” духе германского государства сочетались идеи военной дисциплины, иерархии и “борьбы за счастье не отдельных лиц, а целого”. Главного врага этих идей Шпенглер видел в “английской капиталистической этике”, отстаивающей “право быть счастливым за счёт всех остальных, если достаточно силён для этого”, и презирающей тех, кто “держится за жалкий предрассудок, что следует предпочитать добродетель богатству”. Роковой вопрос для судеб человечества ставился Шпенглером так: “Должна ли в будущем торговля управлять государством или государство — торговлей?”⁷⁵. Соединение “старо-прусского социализма” военного дворянства и служилой бюрократии с антикапиталистическим движением трудящихся масс могло бы дать перевес принципу “один за всех и все за одного” над принципом “каждый за себя”.

В таком же ключе рассуждал известный немецкий социолог Вернер Зомбарт в книжке “Торгаши и герои” (1915). По словам Зомбарта, “торгашеский

дух” превратил “человеческое общество в муравейник”, в котором мы видим только, “как люди окончательно погрязают в своём благополучии, как они спариваются, набивают себе живот и опорожняют кишечник, как они суетятся по жизни без всякого смысла”. “Мы скапливали горы богатства, но знали, что от него не проистечёт благодать, — сокрушался Зомбарт, — мы создали чудеса техники — и не знали, зачем... мы мечтали о прогрессе, по ступеням которого и дальше продолжалась бы бессмысленная жизнь: больше богатства, больше рекордов, больше рекламы, больше газет, больше книг, больше театральных пьес, больше знаний, больше техники, больше комфорта... Но осмотрительному человеку всё время приходилось спрашивать себя: зачем? зачем?.. Жизнь без идеалов — это действительно вечное умирание, загнивание; смрад, распространяемый разлагающимся человечеством, поскольку оно утратило идеализм, как тело, из которого вылетела душа”. Поэтому-то пришла пора возвысить исконно германские героические идеалы долга, авторитета, единства. Критерием любой деятельности, включая промышленную и предпринимательскую, должна стать не личная выгода, а “благо целого”, только тогда эта деятельность приобретёт смысл и перестанет быть пустопорожней суетой, тараканьими бегами в никуда. И тогда Германия осуществит всемирно-историческую миссию “последней преграды, сдерживающей напор того потока нечистот, который изливается от коммерциализма и который либо уже захлестнул, либо в будущем неизбежно захлестнёт все остальные народы”⁷⁶.

Немецкие правые интеллектуалы как будто переписывали почти дословно то, что за 30–40 лет до этого высказали о капитализме русские консерваторы, хотя, несомненно, вдохновлялись собственной национально-консервативной традицией. И действительно, крайне правая немецкая газета *Kreuzzeitung*, выразившая интересы консервативного дворянства, заявила в номере от 3 июня 1885 года: “От роялистских, консервативных воззрений позволительно наводить мосты даже к социалистическим убеждениям; к буржуазным — никогда”. Наведением этих мостов германские консерваторы занимались в течение всего XIX столетия в целях солидарной “борьбы против капиталистического либерализма” и “ликвидации привилегий крупного финансового капитала”. Немецкие помещики-аграрии, объединившись в 1893 году в “Союз сельских хозяев”, в своей программе провозгласили: “Сегодня нет никакой государственно-охранительной политики, которая не отождествлялась бы также с антикапиталистической экономической политикой”⁷⁷.

Несомненное духовное сродство, общие взгляды на узловые проблемы современности, одинаковое неприятие атлантической торгашеской цивилизации обуславливало прогерманскую ориентацию русских правых. Исходя из этого духовно-идеологического сродства, они и предлагали своему правительству вместо того, чтобы ввязываться в жестокие таможенные войны с Германией, открыть для её промышленных товаров российский рынок, получив взамен право беспопытного экспорта русского хлеба в Германию. Взаимодополняющие экономики двух политических и идеологически однородных государств обеспечили бы общее процветание и нерушимый военно-политический союз, делающий их неуязвимыми для капиталистического Запада. К русско-германскому альянсу должны были примкнуть Австро-Венгерская и Османская империи, образовав нечто наподобие Священного Союза времён Александра I и Николая I.

Между прочим, подобная комбинация рисовалась и В. И. Ленину, когда он в тяжёлой обстановке апреля 1919 года рассуждал о месте России в международном разделении труда в случае установления в европейских странах социалистического строя: “Экономическая роль России в жизни будущей коммунистической Европы будет основана на развитии сельского хозяйства. В русской земле кроются неизмеримые богатства, способные в немалой степени обеспечить благосостояние всего человечества. В других странах будет развиваться промышленность, обеспечивая нужды международного сообщества советских государств, но Россия будет снабжать рабочих хлебом насущным”⁷⁸. Как видим, Ленина ничуть не пугала перспектива сохранения за Россией преимущественно аграрного типа хозяйства при наличии вокруг неё пояса дружественных, с односторонним социальным и политическим строем стран, располагающих более мощной промышленной базой. В таком случае не понадобились бы те форсированные, мучительные для крестьянства способы индустриализации, к которым вынуждена была прибегнуть советская власть

в 1930-е годы, находясь в одиночестве в непримиримо враждебном и агрессивном окружении индустриально развитых капиталистических государств. Так же мыслили и консерваторы в конце XIX века, разумеется, в категориях иного, нежели ленинский, социализма.

Русским консерваторам, несмотря на близость некоторых из них к властным сферам, к самим государям, не удалось осуществить ни одного из пунктов своей антикапиталистической программы. Политика правительства и в период реформ Александра II, и во времена виттевской индустриализации 1890-х годов явно шла наперекор устремлениям консерваторов: нарезали ломтями русскую землю железные дороги, взмывали над церковными куполами чадающие фабричные трубы, вползал змеей на Святую Русь иностранный капитал, а в гнезде у двуглавого орла вместо орлят начали вылупляться жирные каплуны: банки, биржи, акционерные компании. Наконец, Россия православно-славного “Белого Царя” присягнула на верность “Великому Буржуинству” — Антанте. И верноподданные консерваторы всякий раз оказывались в неловой и противоестественной ситуации — в оппозиции к правительству государя императора, что не могло не действовать на них деморализующим образом, ослабляя волю и решимость сопротивляться гибельному, с их точки зрения, курсу. Однако у консерваторов оставался ещё один, последний несданный рубеж антикапиталистической обороны — вопрос о земле, точнее, о собственности на землю.

В конце концов, любая общественно-экономическая формация определяется характером собственности на важнейшие средства производства (в России той поры — это, безусловно, земля). Недаром победоносные буржуазные революции в Европе так спешили конституционно закрепить право “священной и неприкосновенной” частной собственности. Уже спустя месяц после штурма Бастилии французское Учредительное собрание утвердило “Декларацию прав человека и гражданина” (26 августа 1789 года), в статье 17 которой провозглашался “священный и неприкосновенный” статус собственности. В 1791 году “Декларация” была включена в текст первой Конституции Франции в качестве преамбулы, определяющей идеологической и аксиологической смысл документа. Положения о частной собственности, несмотря на все политические пертурбации, остались неизменными и в якобинском, и в наполеоновском законодательстве, став краеугольным камнем новой нации собственников, нации-буржуа во Франции XIX века. Именно этот буржуазный собственнический дух, обуявший французскую нацию снизу доверху, внушал брезгливость А. И. Герцену и заставил его в поисках социалистических перспектив обратиться от пошлого и мелочно расчётливого западного мешанина к русскому мужику. Такой же шок испытал и Ф. М. Достоевский, когда впервые посетил Западную Европу в 1862 году и обнаружил там вместо прежнего одновременно и христианского, и просветительского культа истины, братства и справедливости всеобщее поклонение миллиону. Вместо взыскующих *града нездешнего*, хотя бы наподобие блаженного мечтателя Ш. Фурье, — только одержимых манией стяжания и накопления буржуев и буржуйчиков. Во Франции, отмечал Достоевский, даже “работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей”. А уж “французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и полный идеал собственника, какой только можно себе представить”. На такой-то почве *частной*, обособленной и с отдельной личностью соотнесённой собственности, лежащей в основании не только общественного строя, но самой культуры нации, не могло возникнуть никакой подлинной коммунальности, никакого живого “братства”, какие бы лозунги ни кричали на революционных площадях. А возникло и утвердилось “начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своём собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него”⁷⁹. Отсюда естественно выросло так называемое “гражданское общество” Запада, основанное на “общественном договоре”, точнее на системе бесчисленных договоров и контрактов всех со всеми, назначение которых — не столько скреплять индивидов в общность, сколько проводить между ними всё новые и новые границы, возводить всё новые юридические стены, чётко разделяющие Я и не-Я, моё и твоё. Единственной связью между ними остаётся

рыночный обмен, неограниченная свобода коего, наряду с частной собственностью, стала одной из важнейших предпосылок западного капитализма.

“Экономический индивидуализм (подвижный, вполне свободный капитализм...) — вот что пожирает Европу, по-видимому, *безвозвратно*, несмотря на её богатство”, — считал К. Н. Леонтьев. Механизм этого “пожирания” Леонтьев описывал на языке своей теории “вторичного смесительного упрощения”, которое настагает народы на нисходящей траектории их истории и является симптомом предсмертной агонии. Такова именно буржуазная эпоха, которая подвергает редукции все качества человеческой личности, кроме рыночной оборотистости, и наделяет ценностью только то, что можно продать и превратить в деньги. В прежние времена “цветущей сложности”, плодородного разнообразия культуры “Моисей входил на Синай, эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах”. И эти события человечество благоговейно отмечало в своих летописях как собственное высшее проявление. В буржуазный век за высшее стали почитать Ротшильда и его миллионы или, точнее, миллионы как таковые, поскольку отними у Ротшильда и любого другого капиталиста его капиталы, и он предстанет таким же серым ничтожеством, какова вся масса современных “*средних людей*, которые суть и главное орудие смешения, и представители его, и продукт”.

В победе торгашеских идеалов, в фетишизации капитала, становящегося универсальным мерилем, Леонтьев видел прискорбное доказательство дегенерации европейской культуры. “Торговля необходима, — рассуждал он, — торговля в государстве то же, что пищеварение в теле; и без пищеварения нельзя; но никто не считает пищеварение отправлением высшим, и нельзя идею торговли возводить на пьедестал, наравне с гражданской доблестью, с поэзией, с военными подвигами...”⁸⁰. Но как раз такой извращённый порядок вещей и возобладал на капиталистическом Западе. Как пищеварение превращает преизобильное разнообразие праздничного пира в качественно однородную и малопривлекательную массу, так и торгашеская цивилизация, всё оценивая на деньги, прилагая ко всему чисто количественную мерку капитала, выступает неумолимым усреднителем, приводящим к общему знаменателю несоизмеримые, казалось бы, вещи: панталоны и булки, стихи Пушкина и клистирные трубки, оперы Чайковского и зубные протезы. Денежный эквивалент обезличивает любую индивидуальность, стирает разницу между добром и злом, истиной и ложью, красотой и безобразием. Всё это становится только перечнем номенклатуры товаров, имеющих текущую курсовую стоимость на бирже. То же самое делает с живой природой и так называемая “точная” наука, своим математически бесстрастным и мертвенным взглядом превращая многокрасочность Божьего мира в страшенькую реальность атомных масс⁸¹.

И эта выморочная реальность, это унылое “царство количества”, предсказывал Леонтьев, будет невыносимо для человека, даже если взамен прежней подлинности и полноты бытия он получит сытость и материальное довольство. “Однородное буржуазное человечество, — писал он, — или задохнётся от рациональной тоски и начнёт принимать искусственные меры к вымиранию (например, стоит только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать; это очень легко, нужно только, чтобы к этой мысли люди привыкли); или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием; или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлечённые оргией изобретений и открытий, сделают, наконец, такую исполинскую физическую ошибку, что и “воздух, как свиток, совьётся”, и “сами они начнут гибнуть тысячами”...”⁸². Сегодня мы можем добавить, что гибель человечества способен повлечь за собой и какой-нибудь безумный эксперимент геной инженерии, произведённый по заказу капиталистов, слепых и глухих ко всему, кроме иррациональной погони за сверхприбылями.

Консерваторы надеялись, что на пути этого фатально надвигающегося на Европу самоуничтожения встанет Россия, пока ещё только поверхностно затронутая торгашеской цивилизацией. Влияние частной собственности, буржуазной ментальности и индустриальной культуры было здесь ещё очень сильно ограничено гигантским континентом крестьянского мира и не проникло за

пределы немногочисленных крупных городов. “Мы видим современную Россию как бы раздвоившуюся, – писал В. П. Мещерский. – В России стало как бы две России: либеральная Россия столиц и городов, пределы которой кончаются станциями железных дорог, и Россия здравого смысла, начинающаяся за пределами этих линий и рассеянных по ним городских оазисов”. Городская буржуазная Россия с её искусственной средой обитания, образом жизни и даже категориями мышления целиком импортирована с Запада. “Другая Россия” – Россия аграрная, Россия крестьянская, сохраняющая традиционное, докапиталистическое жизнеустройство. Эта “другая Россия живёт собственным умом, желая устройства своей жизни по собственному разумению, на основах своей истории, в стремлении к своим идеалам”. Тогда как городская “либеральная Россия гонит Христа”, “крестьянская (она же христианская) Россия зовет Христа и молит об устройении своей жизни по его учению, по-божески, по справедливости, а не по измышленным новейшим теориям, из которых ни одна пока не привилась к жизни и не дала счастья человечеству”⁸³.

Устойчивость крестьянского земледельческого хозяйства в его противостоянии капитализму обеспечивала мирская собственность на землю. Эта форма собственности была юридически закреплена в таком фундаментальном государственно-правовом акте, как “Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости” от 19 февраля 1861 года, что давало всем антикапиталистическим силам в России как слева, так и справа твёрдую точку опоры для организации активной обороны против притязаний Капитала. Именно поэтому мирское землевладение и общинная организация русской деревни подвергались наиболее ожесточённым атакам буржуазно-либеральной идеологии. Ф. М. Достоевский ещё в 1865 году излагал соответствующую программу либералов от лица некоего “капиталиста при делах-с”: “Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо её родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. “Общинная собственность – яд, говорит, гибель!” – И, знаете, с жаром так говорит... С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно <более> в мелкие участки, и знаете – решительно так произносит: “Др-р-робить”, – говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлечённых иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрёт, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдёт...”⁸⁴.

Буржуазия пойдёт – и скovyрнёт помещика с вершины социальной пирамиды, что прекрасно понимали консерваторы. Поэтому защита общинного землевладения и укрепление мирской организации крестьянства со времён славянофилов всегда занимали центральное место в идеологических построениях правых традиционалистов. “Надежда на общину – есть надежда на Россию”, – писал К. Н. Леонтьев⁸⁵. Последовательным и авторитетным сторонником крестьянской общины – и как признанный в научном сообществе учёный-правовед, и как крупный государственный деятель – выступал К. П. Победоносцев. “Стремясь на основании общих отвлечённых начал к водворению экономической свободы, можно породить свободу нищенства, которая повсюду бывает самым худшим видом рабства, – писал он. – Напротив того, для обеспечения личности от бездомства и пролетариата община представляет единственно практическое средство”. По убеждению Победоносцева, “земля такой товар, который опасно бросить на вольный рынок, подобно всякому иному товару”⁸⁶, а значит, она нуждается в ограждении от приватизаторских вождедений либералов-рыночников. У Победоносцева нашлись единомышленники в правительстве; благодаря их усилиям был инициирован и 14 декабря 1893 года утверждён императором Александром III важный закон “О неотчуждаемости крестьянских наделных земель”, согласно которому за-

прещался залог общинной земли, а продажа наделов допускалась только членам той же общины, но не более двух в руки одного владельца. Таким образом, существовавшие законодательные лазейки для вовлечения в рыночный оборот крестьянской земли были устранены (такowymi являлись статьи 162, 165, 169, 170 “Положения о выкупе” 19 февраля 1861 года, предусматривавшие возможность продажи и залога тех наделных земель, по которым выкупная ссуда была полностью выплачена).

Консерваторы дружно приветствовали закон 14 декабря 1893 года. Один из авторов “Гражданина” удивлялся, почему “прекрасный закон 14 декабря 1893 года, по которому крестьянский надел земли, дом, инвентарь неприкосновенны, не распространён для землевладельцев всех сословий, в том числе и дворян”. “Закон этот, – по его мнению, – должен быть общим достоянием в земледельческой стране”⁸⁷. Идея распространения на дворянское землевладение принципа сословной неотчуждаемости была впервые высказана в печати К. Н. Леонтьевым ещё в 1880 году⁸⁸, её поддержал К. П. Победоносцев в 1889 году⁸⁹. За неотчуждаемость помещичьих имений в 1903 году эмоционально выступил С. А. Нилус, назвав допущение после реформы 1861 года свободного рыночного оборота дворянских земель “уголовно-историческим преступлением”. “По существу русской государственной идеи, – считал Нилус, – земля русская не есть собственность частная, а есть собственность государственная. Истинный её Хозяин – Православный Русский Царь. Она может быть жалована... , но под непременною условием службы поместной или поместно-государственной”⁹⁰. Как оно и было встарь, в допетровской Руси.

Тогда, как утверждал “Гражданин” князя Мещерского, “Цари Московские считались одни собственниками Земли Русской: раздавая имения своим служилым людям, они требовали от них отбытия той или другой службы-повинности”. Однако “при освобождении крестьян принцип этот был совершенно забыт; всё, что осталось от него, подверглось коренной ломке и уничтожению. Политическое знамя было – свобода полная, неограниченная, никаких стеснений, никаких ограничений и никакой поддержки”. Под впечатлением подобной экономической политики “одурелое, испуганное дворянство решило, что время смерти настало, пора очистить честь и место лицам других сословий: кулакам, ростовщикам, проходимцам”. Усилиями либералов в правительстве “всё было роковым образом направлено к тому, чтобы переход дворянских имений в их руки был облегчён до крайности. Частные банки, частные финансовые предприятия прямо к тому вели: принцип вольной торговли торжествовал, а земля и землевладение потеряли своё государственное значение, утратили свою устойчивость, и земля обратилась в товар, а земледелие – в промысел и торговлю”. Применение этих либеральных принципов в экономике имело и серьёзные политические последствия: “Государство бессознательно отказалось от своих верховных прав на Русскую Землю, передало права эти дельцам берлинской биржи, которые явились участниками правительства в его правах над Россиею. Но зато принцип торжествовал: *laisser faire, laisser passer...*”⁹¹.

Иными словами, курс на развитие капитализма, буржуазные методы управления экономикой не принесли обещанного процветания и оказались губительны не только для дворянского сословия, но и для государственного строя и даже суверенитета России.

Допущение капиталистических отношений в область землевладения, полагали в “Гражданине”, повлечёт катастрофические последствия для всего старого порядка. Пессимистический сценарий на эту тему был представлен в программной статье П. Н. Семёнова. “Мы можем, – рассуждал он, – дать полный простор капитализму и пойти по европейскому шаблону к развитию мелкой собственности, подобно Франции, к поголовному разорению землевладельческого населения и обращению его в колоссальный по своей численности пролетариат. Насытить этот пролетариат, конечно, не в силах будет наша фабричная промышленность, пока ещё раздутая искусственно по сравнению с американскою, английскою и германскою, развившихся вследствие избытка накопившихся капиталов. Нам не миновать в этом случае развития биржевой игры с землёю как с товаром и временного поэтому упадка земледельческой культуры. Верными шагами пойдём мы тогда к обезземеливанию важнейших в государстве сословий, крестьянского и дворянского, и, следовательно, к уничтожению вообще сословного строя в государстве и потом последова-

тельно — к ниспровержению, как во Франции в конце прошлого века, всего существующего порядка. Путь очень ясный и определённый, не требующий особой дальновидности...».

Этот путь достаточно выявился в течение нескольких пореформенных десятилетий: «Исконное дворянское землевладение, с освобождением крестьян отданное в порабощение нахлынувшему на Россию капиталу и достаточно уже расстроенное им в какие-нибудь 37 лет, тает ежегодно. На смену дворянскому сословию в поместном землевладении является случайная группа людей новой формации, не могущая заменить дворянство в его традиционном культурном поместном значении, не имеющая решительно никакой связи с землёю и народом, смотрящая на землю только как на средство наживы и обращающаяся с нею, при нынешнем экономическом положении России, как с товаром, с ценностью». Эти люди «новой формации» превращают землю в предмет биржевой спекуляции, манипуляции с ценными бумагами, что нисколько не способствует повышению продуктивности сельского хозяйства. Поэтому «земледельческий центр России с коренным великорусским населением оскудевает».

Сохранение русской земли неотчуждаемой составляет, по убеждению Семёнова, «наше историческое призвание». И «как оно должно быть ненавистно капитализму, — восклицал он, — если только представить себе, что сотни миллионов десятин крестьянской земли надолго ещё могут быть независимы от капитала и что под громадную ценность этой земли никак нельзя будет извлечь на биржу бумажных ценностей на целые миллиарды рублей, около которых могли бы греться тысячи жидков и спекулянтов, переводя эти бумаги из кармана в карман ближнего и наживаясь без труда из кармана чужого! Каких только ухищрений не будет пущено в ход представителями капитализма, чтобы свернуть Россию с её исторического пути в деле землевладения!» Но, к счастью, Россия, в отличие от других европейских государств, имеет то, что внушает надежду на её более счастливую судьбу, — «наше спасительное неограниченное единодержавие — власть, которая сильнее капитала и которая ещё может повести Россию по пути, независимому от законов его гнёта и порабощения». В противном случае, «если жизнь России пойдёт к капиталистическому строю, то есть по западноевропейскому шаблону, то наша культура не переживёт европейской и погибнет вместе с нею»⁹².

Наиболее смелый среди консерваторов проект антикапиталистического будущего для России сформулировал в своих произведениях К. Н. Леонтьев. «Главные исторические основы нашей русской жизни три: Православие, Самодержавие и поземельная община»⁹³, — считал он и именно на этих основах предлагал строить спасительный ковчег, который убержёт Россию от «всепожирющей буржуазности» и избавит от неизбежной кровавой развязки противоречий капиталистического общества на Западе. «Чувство моё пророчит мне, — писал Леонтьев, — что славянский православный царь возьмёт когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»⁹⁴.

По убеждению Леонтьева, согласного с А. И. Герценом и Ф. М. Достоевским, западноевропейское социалистическое движение вдохновляется *ressentiment*'ом, то есть завистью, злобностью и комплексом неполноценности со стороны черни к сытым и преуспевающим верхним классам. Ничего иного, кроме лютой и кровавой мести, насильственного поравнения, выкалывания глаз Копернику и вырезывания языка Шекспиру, победа этой одичавшей и осатаневшей черни произвести не сможет. Грядущий социализм будет восхождением человечества на новую ступень этического и эстетического совершенства только в том случае, если его движущей силой станут не низменные вождения и пошлые идеалы потребительства и уравниательства, ревнивого ко всему из ряда вон выдающемуся, а христианские чувства великодушия, с одной стороны, и смирения — с другой. В России наличествуют наиболее благоприятные условия для реализации такого «охранительного», «православного» социализма, так как здесь буржуазный дух не разъял ещё аристократические добродетели российского дворянства; оно не перестало ещё быть благородным, то есть способным к великодушной жертве своими личными выгодами ради общих и высших интересов, а Пожарских и Суворовых не вытеснили ещё окончательно с исторической сцены Разува-

евы и Колупаевы. Русский мужик, стеснённый общинной дисциплиной, ещё не запродав свою землю кулаку и спекулянту, ещё не выварился в фабричном котле и не вывалялся в рыночной грязи, не променял ещё идеал “мадоннский” на идеал “маммонский” и “содомский”. Ещё сияли посреди Святой Руси древние монастырские обители, в которых не перевелись ещё прозорливые и мудрые старцы, способные указать смятенным и потерянным людям путь Истины и Жизни. Ещё в силе была Власть Царская, Самодержавная, *недоступная звону злата и могущая*, как казалось Леонтьеву, исполнить миссию “удерживающего” Россию от “буржуазно-плутократического либерализма”.

“Социалистическая монархия” рисовалась Леонтьеву сложноподчинённой системой сословно-корпоративных групп, прикреплённых к земле. Каждая из этих сословно-корпоративных групп наделялась определённым перечнем обязанностей, прав и привилегий, как во времена средневекового феодализма. Ядром системы надлежало стать общежительным монастырям (киновиям) наподобие Оптиной пустыни или Афона (“Афон, как образец реального, но не реалистического социализма”, – так назывался один из черновых набросков Леонтьева⁹⁵). В киновиях должен был осуществляться самый строгий монастырско-коммунистический порядок, не предусматривавший ни равенства, ни свободы, ни личной собственности для своих членов. Это позволило бы культивировать у монахов-киновиатов совершенные христианские качества: смирение, терпение, послушание, нестяжательство, задавая образцы благой жизни всем остальным сословным группам и общинам. Их Леонтьев называл “мирскими монастырями”, и режим в них предполагался менее суровый, нежели в киновиях. В крестьянских общинах отсутствие частной собственности на землю и свободы самоопределения смягчалось бы привычным демократическим равенством во внутренних отношениях их членов. Наконец, в помещичьих вотчинах известная личная свобода сдерживалась бы неравенством и принципом неотчуждаемости земли. Леонтьев допускал, что в каких-то отдельных сегментах общественного организма, для некоторых групп, в интересах функционирования целого, могут быть дозволены и частная собственность, и личная свобода, и какие-то ещё вольности и послабления. Однако, дабы не послужили они дурным примером и соблазном для прочих, над ними, да и над всеми остальными подсистемами должна грозно нависать неограниченная самодержавная власть, всегда готовая обрушить свою карающую длань на любого потенциального растлителя монастырско-коммунистического образа жизни.

Начало принудительности, стеснения и обуздания вообще играло преобладающую роль в “охранительном социализме” Леонтьева, но это нимало его не смущало: “Рабство есть и теперь, при капиталистическом устройстве общества; то есть есть порабощение голодающего труда многовластному капиталу”. Но насколько достопочтеннее, душеполезнее и благообразнее было бы беспрекословно подчинить свою волю монастырскому отцу-настоятелю, или духовному старцу, или миропомазанному православному царю, нежели рабовствовать ротшильдовскому миллиону. Упования “розовых христиан”, как называл Леонтьев Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, на преодоление буржуазного отчуждения проповедями о любви, братстве, ненасилии и всепрощении представлялись ему, ввиду неисправимой испорченности и греховности человека, глупыми и вредными иллюзиями. Любая организация, любое сложное единство, считал Леонтьев, есть отрицание индивидуальной свободы его частей; любое развитие и созидание, мобилизующие высшие способности человека, невозможны без насильственного укрощения устремлений его животного “низа”. “Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма – сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п. – есть *не что иное, как процесс разложения*”. Леонтьеву представлялось, что “явления эгалитарно-либерального прогресса” очень “сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.”. Поэтому, рекомендовал он, “надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”...”⁹⁶.

В начале XX века в России этот гнилостный, “холерный” процесс обострился до предела, выплеснулись наружу непримиримые социальные и классовые противоречия, со всей определённой и категоричностью поставив-

шие каждого перед выбором между “красными” и “белыми”, между капитализмом и социализмом. Журнальная полемика перешла в уличные бои, где история пишется не чернилами, а кровью. Первая русская революция 1905–1907 годов стала “моментом истины” для всех российских идеологических течений и общественно-политических движений, ребром поставила она вопрос о самоопределении и для консерваторов. Высочайший манифест 17 октября 1905 года, даровавший политические свободы и выборный законодательный орган в виде Государственной Думы, открыл перед правыми, как и перед другими политическими силами, широкие возможности для создания организационных структур и легальной борьбы за свои идеалы и интересы. Возникли многочисленные право-монархические партийные органы печати, развернувшие агрессивную националистическую и антисоциалистическую пропаганду. Среди них быстро затерялся “Гражданин” князя Мещерского, некогда авторитетный и влиятельный рупор консервативных идей. Теперь консервативный лагерь представляли массовые общечественные и политические движения, известные под общим именем “черносотенцев”, – Союз Русских Людей, Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела, Русское Собрание и др. В 1906 году появился Совет Объединённого Дворянства – общероссийская дворянская сословная организация, снискавшая себе репутацию наиболее реакционной политической силы в России. Многие активные деятели Объединённого Дворянства, такие как В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков, возглавляли одновременно крупнейшие черносотенные партии.

Крайне правые деятели начала XX века декларировали свою верность идейным традициям консерваторов прошлого, называя среди своих духовных предтеч славянофилов, Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевского, реже – К. Н. Леонтьева. В программных документах черносотенных партий и в правомонархической публицистике звучали стандартные формулы о преданности православного русского народа самодержавной власти Батюшки-Царя, посылались дежурные проклятия по адресу лживых и продажных парламентских болтунов, гнилой либеральной интеллигенции и дёргающему их всех за ниточки международному “жидо-масонскому” капиталу. Однако в старые мехи вливалось новое вино, и привычные словесные формулы вмещали теперь совсем другое содержание. В яростных обличениях правыми капитализма и капиталистов акцент теперь делался не на самом капитализме как несправедливой социально-экономической системе, а на том, что он либо “иностраный” и пришёл закабалить Россию извне, либо “жидовский” и эксплуатирует русских, как и пристало “хриstopродавцу”. В одной из черносотенных листовок под наименованием “Воззвание к русскому народу” (1906) разъярялось, что “жиды всего мира, ненавидящие Россию” натравили на неё японцев, а потом и революционеров, и хотят “хитростью и обманом отобрать землю у русского мужика, а самого его обратить в раба жидовского, попов его расстричь, а православные церкви и монастыри превратить в жидовские хлевы и свинятники”. Для достижения своих гнусных замыслов изверги “решили разорить единственных защитников русского народа и его веры – православных русских помещиков, фабрикантов и купцов, чтобы потом без помехи жид всё на Руси забрал бы в свои руки и некому бы было за русский народ заступиться”. И вот когда эти “народные заступники”, купцы и фабриканты, будут устранены, “тогда жиды переведут сюда свои капиталы из Англии, Америки и Германии и за гроши скупят все наши русские фабрики, заводы и имения”, а беззащитный народ слопают живьём.

В более серьёзном документе – в “Избирательной программе” Союза Русского Народа, с которой он шёл на выборы во II Государственную думу (2 сентября 1906), – официально провозглашалась та же самая идея о противостоянии хорошего национального капитала плохому и злокозненному иностранному. Отсюда следовало, что “Союз должен всеми способами содействовать тому, чтобы призывать русских капиталистов к борьбе с еврейскими и иностранными капиталами и вызвать приток государственных капиталов на арену борьбы русских предпринимателей с еврейскими и иностранными”. Предвыборные обращения Русского Собрания призывали монархистов голосовать “за русских купцов, фабрикантов, заводчиков и промышленников, чтобы только им отдавать во всё преимущество перед иностранцами, помогать и поощрять в устройстве фабрик, заводов и промышленных предприятий”. Помещики в этом перечне вообще не упоминались. В программе “Союза рус-

ских рабочих людей” (6 апреля 1907) правые предлагали им “признать священными начала собственности”⁹⁷.

В предвыборной кампании в IV Государственную думу осенью 1912 года правые уверяли рабочих: “Лгут те, кто проповедует борьбу труда и капитала. Между ними вражды быть не может, ибо капитал и труд должны быть союзниками, членами одного организма, а не врагами. Без труда капитал не состоителен и мёртв, без капитала труд немыслим вовсе. В любовном союзе капитал и труд делают чудеса, во вражде гибнут оба”⁹⁸. Развитие капиталистической промышленности, индустриализация страны теперь расценивались консерваторами как большое благо: “Промышленность – великая сила, от неё кормятся десятки миллионов людей... Те страны, в которых промышленность процветает, благоденствуют, а там, где промышленность чахнет, там народу живётся плохо”. Поэтому категорически не правы те, которые “говорят, что не нужно ни фабрик, ни заводов, что все должны сидеть на земле”, напротив, “чем больше будет фабрик и заводов, тем дешевле будет товар вследствие конкуренции, а рабочая плата неминуемо повысится, потому что спрос на рабочие руки увеличится”⁹⁹.

В отношении финансово-кредитной политики правые как будто повторяли старые лозунги о “национализации кредита”, однако подразумевали они под этим уже не “огосударствление”, а только “обрусение” данной сферы, для чего требовали у правительства перестать “субсидировать жидов-талмудистов, их банки и их торгово-промышленные предприятия” и, наоборот, позволить “беспрепятственно учреждаться чисто русским кредитным обществам и банкам”, чтобы “противопоставлять русскую торгово-промышленную деятельность жидовской при содействии мелкого и крупного кредита со стороны русских банков и государственного казначейства”¹⁰⁰. Лидер одной из крупных монархических организаций Союза Русских Людей князь А. Г. Щербатов считал, что “государственный банк должен быть представителем русской торговли и промышленности, а потому акционерным”. В прежние времена это вызывало у консерваторов ужас. Однако Щербатов не видел ничего ужасного даже в том, что “деньги будут рассматриваться как товар и будет так же легко получить разрешение на торговлю ими, как на торговлю сахаром, чаем или мануфактурой”. Тогда “при условии дешёвого государственного кредита местные” кулаки и ростовщики “найдут для себя выгодным давать в долг деньги предприимчивым, добросовестным, лично известным им людям под заведомо выгодное предприятие”. Всё это даст могучий стимул для роста промышленных и коммерческих оборотов, возбудит предприимчивость и “освободит русский народ от ига иностранного и еврейского капитала”. Чтобы отдать его в распоряжение капитала отечественного, добавим мы от себя.

Были реабилитированы “новыми правыми” и железные дороги – теперь они рассматривались как очень полезное “средство широкого обмена товаров и вследствие того развития производства и потребления”. Экологические и социальные последствия “развития производства и потребления” их занимали уже мало.

Но наиболее принципиальный разрыв с предшествующей консервативной традицией произошёл у “новых правых” начала XX века в вопросе о допустимости частной собственности на землю. Князь А. Г. Щербатов, например, указывал на “государственное значение частной собственности” на землю, которое “вытекает из свойства её – вызывать усиленное напряжение народного труда как в применении, со стороны владельцев, по её использованию, так и в виде народных сбережений в надежде приобрести земельную собственность”¹⁰¹. В былые времена консерваторы вместо эвфемизмов “усиленное напряжение народного труда” и “народные сбережения” прямо бы написали про зверскую эксплуатацию и про алчный капитал, который прибирает “земельную собственность” из рук помещиков и крестьян, но времена сильно изменились. В условиях революционной турбулентности начала XX века общинная собственность на землю и неотчуждаемость крестьянских наделов перестали казаться консерваторам оплотом старого порядка. Теперь они и слышать не хотели ни о каком социализме, даже об “охранительном” или “афонском”.

Идеологи помещного дворянства, собравшиеся под знамёна Совета Объединённого Дворянства в 1906 году, рассуждали уже не о распространении принципа неотчуждаемости на дворянские земли, а наоборот – о ликвидации общины и укреплении в частную собственность крестьянских наделов.

На I съезде Объединённого Дворянства делегаты недвусмысленно указывали на социализм как на самого опасного врага: “Принцип уничтожения частной собственности есть орудие социализма, социализм же есть главный враг монархии, следовательно, вооружаясь гневом против социализма, мы этим самым защищаем принцип монархии”. Основным же “рассадником социалистических бацилл” в России признавалась крестьянская община. Следовательно, “уничтожение общины было бы благодетельным шагом для крестьянства”, и “государство должно идти именно по этому пути, если оно хочет положить предел социализму”. “В чём интересы дворянства России?” – задавал вопрос на IV съезде Объединённого Дворянства весной 1907 года один из ораторов и сам отвечал: “В том, чтоб на всё землевладение было распространено право частной собственности”.

На этом же съезде прозвучало предложение всероссийскому дворянству заключить политическую сделку с наиболее влиятельной в Думе буржуазной партией – Партией народной свободы (кадетов): в обмен на гарантии сохранения помещикам прав частной собственности на их землю дворяне-землевладельцы поддержат кадетов в их стремлении упразднить самодержавное правление и превратить Россию в парламентскую монархию. Дворянству следовало забыть прежние сословные предрассудки и “объединить в группы защитников частной собственности” всех, у кого она есть, – “составить Российский союз собственников”. “Мы тогда перестанем быть одиночками, на нашу сторону перейдут представители и других видов частной собственности, не исключая движимой в соответственном размере, – домовладельцы, фабриканты, купцы, промышленники и владельцы процентных бумаг”, – рассуждал потомок древнего аристократического рода князь П. Л. Ухтомский. Представители дворянства были убеждены: “Впредь мы можем найти союзников только в буржуазии”¹⁰². По поводу таких умозаключений в “Гражданине” князя Мещерского с горькой иронией советовали: “Господа дворяне... приписывайтесь скорее, пока время не ушло, к буржуям или интеллигентам, а то и туда не попадёте”¹⁰³.

После “аграрных беспорядков” 1905–1906 годов, сопровождавшихся пожарами и поджогами дворянских усадеб, крестьянство в глазах помещиков предстало “не приверженцем русской старины, а наоборот – заклятым врагом самодержавной власти, Церкви, собственности и всего исторического строя”. На съездах Объединённого Дворянства в речах уполномоченных от губернских дворянских обществ регулярно звучали поношения в адрес общины, восхвалялась аграрная реформа П. А. Столыпина, предусматривавшая разрушение общинного землевладения и вовлечение крестьянской земли в рыночный оборот. Делегаты с гордостью говорили о том, что именно на I съезде Объединённого Дворянства в мае 1906 года “впервые с полной ясностью были выражены те мысли, которые впоследствии были проведены в жизнь законом 9 ноября [1906 года]”, и это “навсегда останется одной из великих заслуг Объединённого Дворянства”¹⁰⁴. Конечно, и среди делегатов дворянских съездов подавали свой голос некоторые Стародумы, которые осторожно напоминали, что “если завтра будет объявлено, что всякая земля в России есть вещь продажная, то у нас очень скоро будет еврейское землевладение, а не русское дворянское или русское крестьянское землевладение”¹⁰⁵. Что столыпинский закон 9 ноября 1906 года, отменявший закон 12 декабря 1893 года о неотчуждаемости крестьянской надельной земли, “это совершенно невозможная вещь, потому что он противоречит тем основаниям, на которых прежде покоились законы”. А “прежде законы имели в виду защиту слабых, ограждения их”, теперь же сам премьер-министр заявляет о том, что “закон существует для того, чтобы охранять сильных, но не слабых”¹⁰⁶.

Но речи таких Стародумов уже не определяли господствующего настроения в правоконсервативных кругах. Столыпинскую политику горячо поддержали и некоторые вожди черносотенных партий. Руководитель Союза Русского Народа Н. Е. Марков безапелляционно заявлял: “Община является зверем, и с этим зверем надо бороться... Через это трижды проклятое общинное землевладение наш народ так ужасно, так поразительно обнищал”¹⁰⁷. Тех же, кто возражал против разрушения общины, подвергали травле и последовательно отщепляли от руководства правым движением, как это произошло, например, с основателем Союза Русского Народа А. И. Дубровиным¹⁰⁸. Странники Дубровина в СРН предупреждали: “Хуторская реформа есть огромная фабрика

пролетариата. Если до реформы пролетариата насчитывалось сотни тысяч – теперь его насчитываются миллионы, а в ближайшем будущем будут насчитываться десятки миллионов”. На что защитники политики Столыпина (в данном случае, один из самых ярких и талантливых правых публицистов М. О. Меньшиков) отвечали: “Пролетарии-профессионалы – обыкновенно вырожденцы. Мешать им вырождаться и вымирать – грех перед природой”¹⁰⁹.

Эволюция взглядов Меньшикова на капитализм вообще характерна для правоконсервативного дискурса в начале XX столетия. В 1900 году в статье “Кончина века” он обличал “железный” XIX век, выпустивший из преисподней демонические силы: пар, электричество, динамит. В погоне за приращением капитала он вызвал к жизни целый мир могучих, но бездушных машин-монстров, этот новый мир машин произвёл изобилие вещей, но, лишив миллионы людей работы, лишь увеличил количество нищеты и голода, “выгнал на улицу сотни тысяч женщин и девушек и создал пышный расцвет проституции”. Не только человек, но природа испытала “на себе поистине бич Божий, истребительный хуже землетрясений и потопа”: “Никогда природа не опустошалась с такой яростью, как в истекший век... Человек вошёл в родную природу, как палач, и гневная, умирая, она дохнула на него смертью. Деятнадцатый век создал множество искусственных, чаще всего излишних, средств жизни, но загубил целый ряд естественных и необходимых: с истреблением лесов исчезает влага, которую они регулировали, исчезает топливо, столь необходимое в нашей стране, исчезает мир животных, дававших меха и мясо, исчезает мир съедобных растений, ягод и грибов, исчезает царство рыбы, после хлеба бывшее главным кормильцем русского человека”.

Такой же погром произвёл капитализм в русском социальном пространстве: “Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений... Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению, и всё это для того только, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти нога в ногу с Европой... Из России текут реки золота на покупку западных фабрикатов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей, на погашение долгов и процентов по займам и пр.”, тогда как “для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные, вообще – земледельческий, деревенский уклад, нежели капиталистический”.

Однако спустя несколько лет, в 1909 году, Меньшиков существенно пересматривает свои взгляды на роль капитализма в истории: “Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее полу столетие. Перестройка натурального хозяйства в капиталистическое – переворот бесконечно важнейший всех политических революций. На капитал мечут громы, и он действительно похож на колесницу Джагернаута. Под колесницей его, под миллионом фабричных колёс, выжимаются действительно соки народные. Но с другой стороны, минув естественные злоупотребления властью, естественный распад капитала в виде безумной роскоши и распутства, нельзя не видеть, что капитализм – пока единственное средство спасти человечество от анархии. Капитализм поработает – да, но может быть, это и нужно массам. Капитал организует вновь труд народный, парализованный освобождением. Освобождённый полудикарь не знает, что ему делать с собой и к чему себя пристроить. Первое, что ему приходит в голову, – променять свою скудную культуру, до зипуна и шапки, за бутылку спирта... Капитал жестокою рукою голода берёт бездельника за шиворот и ставит – будем говорить правду! – вновь в крепостные условия, за фабричный станок, за усовершенствованный плуг. И если бы не это новое крепостное рабство, не было бы ни современной Европы, ни Америки. Россия только тем и оплошала, что на смену одного крепостничества у нас не оказалось другого. Будь у нас промышленность и капитализм налажены в начале XIX века, как на Западе, – мы шли бы нога в ногу с Европой”¹¹⁰.

Накануне революции, в 1916 году, Меньшиков уверял русских читателей, что “европейско-американский капитал, путешествующий теперь по земному шару и ищущий для себя практическую работу”, далеко “не всегда хищник, что очень часто он – сила высокоблаготворительная и ничем не заменимая”. Поэтому привлечение его в Россию жизненно необходимо для создания в ней современной промышленной цивилизации: “Если прибыль его умеренная и если она получается из развития самого дела, то иностранный капиталист не только не разоряет, но явно обогащает страну, где он налаживает культуру”¹¹¹.

Не надеясь, что отечественный капитал и буржуазия смогут справиться с надвигающейся народной социалистической революцией, правые уже готовы были сдать страну капиталу иностранному. Нет ничего удивительного в том, что в 1918 году, незадолго до своего расстрела большевиками, Меньшиков по-смердяковски мечтал, что очередная “умная нация”, на этот раз немцы, завоюет “весьма глупую-с”.

“Придите бить нас кнутом по морде! Даже этой простой операции, как показал опыт, мы не умеем делать сами, — писал Меньшиков в своём дневнике. — Мы как нация не имеем права на независимость... Русский народ — запущенная, загаженная река... и возни с ним немцам придётся немало. В этом, мож[ет] б[ыть], провиденциальная роль германской расы... Возможно, что в спасении России примут участие — под предлогом “эксплуатации” — и англо-саксы, и даже японцы. Что же, останется только поблагодарить судьбу... Завоевание немцами России будет пронизываньем её мозговым веществом, системой нервов, ей недостающих... До нашей прачки включительно все ждут немцев, как спасителей...”.

Разумеется, теперь и капитал был не только реабилитирован Меньшиковым, но и возведён на пьедестал спасителя человечества: “Легко понять, что капитал работает преимущественно на демократию, на удешевление продуктов, на приобщение широких масс народных к потребностям культурного рынка. Разве это не благодетельная роль капитала? Разве, говоря по совести, он не является *мессией*, притом — единственным *мессией*, выводящим злосчастное человечество из трясины варварства, цинической нищеты, грязи, голода, заразных болезней и невежества?... Разве это не сама справедливость, когда человек оценивался именно его кошельком, то есть суммой труда, им или его предками вложенного в общество?” Нашлись у Меньшикова тёплые слова и для Ротшильда, который рисовался ему “какой-то мистической точкой”, “в центре завивающегося вихря богатства”, орошающего честных тружеников золотым дождём материального изобилия и счастья¹¹².

К 1917 году консервативная идеология, увы, представляла собой “гроб по-вапленный”. Снаружи она была ещё разукрашена в традиционные имперские цвета “Православия, Самодержавия, Народности”, а внутри её Христа, даже в леонтьевской интерпретации “Спаса Ярое Око”, уже вытеснил блудливый Плутос. Не оттого ли в момент крушения царской монархии в феврале-марте 1917 года у неё не нашлось буквально ни одного защитника? А ведь поначалу, в 1905–1907 годах, когда монархический строй в России оказался в критической ситуации, правым удалось мобилизовать массовую поддержку не только среди достаточных классов, но и среди рабочих и крестьян. Лидеры Союза Русского Народа хвалились тогда, что под их знамёна встали 6 миллионов человек¹¹³. В реальности, по подсчётам современных российских историков, численность право-монархических партий на пике их популярности в 1907–1908 годах составляла около 400 тысяч человек, однако к 1916 году сократилась примерно в 10 раз¹¹⁴. Такая убийственная динамика для партий, пользовавшихся всемерной административной и финансовой поддержкой властей, объясняется, не в последнюю очередь, их изменой в начале XX века тому антикапиталистическому содержанию консервативной идеологии, которая была заложена в её основание славянофилами, Ф. М. Достоевским, К. Н. Леонтьевым.

Черносотенцы внушали народу, что все его нужды и чаяния будут удовлетворены благодеянием “Отечески-Попечительной власти Неограниченного Самодержца, чуждого по своему положению каких-либо своекорыстных видов”. Они говорили, что царь, опираясь на “всех истинно русских”, не допустит “порабощения трудовых народных масс шайками интернациональных капиталистов”¹¹⁵. Они обещали, что “государь, поддерживаемый трудящимся народом, всегда станет защищать его интересы от засилия капиталистов, которые стремятся захватить его власть”. Они твердили, что “не надо допускать, чтобы в России все богатства очутились, как в Америке, в руках нескольких богачей”, а “надо, чтобы богатства возможно равномернее... распространились среди всего населения”¹¹⁶. И, внимая этим обещаниям, к правым поначалу примкнули значительные контингенты традиционалистски и антикапиталистически настроенных рабочих и крестьян.

Однако вожди черносотенных партий, в руководящих органах которых удельный вес дворян составлял 61,5%¹¹⁷, сознательно, если не сказать — под-

ло обманули рядовую рабоче-крестьянскую массу своих последователей. Вот наиболее красноречивый пример подобного обмана, имевшего место в апреле 1907 года на IV съезде Объединённого Русского Народа – представителем форума право-монархических сил страны. “Вся крестьянская и вообще народная часть съезда, – свидетельствует видный идеолог консерватизма и участник событий Лев Александрович Тихомиров (1852–1923), – требует отчуждения земель, а о переселениях говорят, что нужно переселить помещиков, давши им пособие, а их земли отдать здесь крестьянам”. Заправилами съезда – В. А. Грингмут и князь А. Г. Щербатов – испугались, что подобные требования, явно направленные против столыпинской аграрной политики, войдут в окончательную резолюцию съезда. Они обратились к Тихомирову с просьбой так переделать текст документов, чтобы максимально выхолостить их остросоциальное содержание. “Я взял с собой, – пишет Тихомиров, – перечитал дома и в ужас пришёл от невероятной глупости их... Требования чисто социалистические... Как тут быть? Единственное средство: отдельными переменами слов довести фразы до фактического изменения их смысла или до придания им полной неопределённости смысла, так, чтобы не было ни глупо, ни умно и чтобы, в сущности, не осталось никакого смысла. Так он (Грингмут. – И. Д.) и стал, с моей помощью, “редакционно” улучшать постановления, и, поняв, постепенно мы и достигли поставленной цели. Явный скандал был заглушён. Но что же осталось? Что же скажут составители? Заметят ли они, что смысла никакого нет? На первое время, вероятно, ничего не заметят, но постепенно не могут же не “расчихать”... и что тогда?...”¹¹⁸.

Рабочие и крестьяне действительно очень скоро расчихали, что к чему, и в результате к решающим дням 1917 года вожди правых оказались полководцами без армии и без всякого сопротивления капитулировали перед февральской буржуазной революцией.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: Эвенчик С. Л. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России // Ученые записки МГПИ. № 309. М., 1969. С. 90. Спустя 20 лет Победоносцев писал об Александре II и о его исторической роли нечто прямо противоположное: “Как тянет это роковое царствование – тянет роковым падением в какую-то бездну. Прости Боже этому человеку – он не ведает, что творит, и теперь ещё менее ведает. Теперь ничего и не отличишь в нём, кроме Сарданапала. Судьбы Божии послали нам его на беду России. Даже все здравые инстинкты самосохранения иссякли в нём, остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности. Мне больно и стыдно, мне претит смотреть на него...” (Письмо К. П. Победоносцева Е. Ф. Тютчевой от 2 января 1881 года. Цит. по: Река времён (Книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995. С. 181).

² Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 208, 280.

³ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 279–280.

⁴ Мещерский В. П. Письма к великому князю Александру Александровичу, 1863–1868. М., 2011. С. 594.

⁵ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 554.

⁶ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 459, 492.

⁷ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 27. Л., 1984. С. 19.

⁸ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 468.

⁹ Катков М. Н. Русское дворянство и русский народ, их взаимные отношения (11 января 1865) // Он же. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. СПб, 2011. С. 209.

¹⁰ Аксаков И. С. О самоуничтожении дворянства как сословия (“День”, 6-го января 1862) // Сочинения И. С. Аксакова. Т. 5. М., 1887. С. 218.

¹¹ Мещерский В. П. Речи консерватора. Вып. 1. СПб, 1876. С. 8–9, 11, 21, 30–31, 33, 35, 38.

¹² Мещерский В. П. Речи консерватора. Вып. 2. СПб, 1876. С. 268–269.

¹³ Динамику общения Мещерского и Достоевского с 1875 по 1881 год легко проследить по кн.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. СПб, 1995 (указатель). О взаимоотношениях князя Мещерского и Достоевского см. также: Викторovich А. Г. Достоевский и князь В. П. Мещерский // Русская лите-

- ратура. 1988. № 1. С. 205–216; Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына). М., 2006. С. 273–291.
- ¹⁴ См.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 28–29.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 40.
- ¹⁶ Гражданин. 1887. 5 февраля. № 11. С. 7.
- ¹⁷ Мещерский В. П. Дневник, 29 апреля // Гражданин. 1887. 3 мая. № 36. С. 14. Подробнее об истории взаимоотношений князя Мещерского и К. Н. Леонтьева см.: Фетисенко О. Л. “Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб, 2012. С. 325–339.
- ¹⁸ Мещерский В. П. Дневник, 7 апреля // Гражданин. 1910. 11 апреля. № 13. С. 17.
- ¹⁹ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 413.
- ²⁰ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 10.
- ²¹ Чит. по: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 397–399.
- ²² Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1989. С. 247–248.
- ²³ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 519.
- ²⁴ Астафьев П. Е. Симптомы и причины современного настроения (наше техническое богатство и наша духовная бедность). М., 1885. С. 66, 83–84, 86–87.
- ²⁵ <Серенький>. Маленькие мысли. LXLV. О людях нормальных и ненормальных // Гражданин. 1899. 14 марта. № 20. С. 3.
- ²⁶ <Серенький>. Маленькие мысли. XVII. Страх // Гражданин. 1897. 6 февраля. № 11. С. 5.
- ²⁷ Успенский Г. И. Крестьянин и крестьянский труд (1880) // Собрание сочинений. Т. 5. М., 1956. С. 55.
- ²⁸ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 413.
- ²⁹ К. Н. Леонтьев – В. В. Розанову, 30 июля 1891. // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). СПб, 1993. С. 582.
- ³⁰ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 404.
- ³¹ Мещерский В. П. Дневник, 29 августа // Гражданин. 1897. 31 августа. № 68. С. 14.
- ³² <Петров>. Религия и наука // Гражданин. 1897. 30 января. № 8. С. 4.
- ³³ Мещерский В. П. Дневник, 25 сентября // Гражданин. 1894. 29 сентября. № 268. С. 3.
- ³⁴ <Серенький>. Маленькие мысли. CLXII. Откуда зло народное // Гражданин. 1901. 4 февраля. № 10. С. 4.
- ³⁵ Кандауров Д. Д. Казённое земледелие // Гражданин. 1893. 3 февраля. № 34. С. 1–2.
- ³⁶ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2.
- ³⁷ Мещерский В. П. Дневник, 18 августа // Гражданин. 1887. 20 августа. № 67. С. 15.
- ³⁸ Мещерский В. П. Дневник, 30 ноября // Гражданин. 1897. 4 декабря. № 95. С. 20.
- ³⁹ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2.
- ⁴⁰ Мещерский В. П. Дневник, 27 февраля // Гражданин. 1893. 28 февраля. № 58. С. 3. Ср.: <Смоленский помещик>. За и против // Гражданин. 1893. 16 марта. № 74. С. 1–2.
- ⁴¹ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2–3.
- ⁴² Мещерский В. П. Дневник, 11 июля // Гражданин. 1901. 15 июля. № 53. С. 16.
- ⁴³ Мещерский В. П. Дневник, 27 ноября // Гражданин. 1892. 28 ноября. № 329. С. 3; Мещерский В. П. Дневник, 16 сентября // Гражданин. 1912. 23 сентября. № 38. С. 13.
- ⁴⁴ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 4.
- ⁴⁵ Иванюшенков И. Отношение пошлин к земледелию и экспорту // Гражданин. 1888. 18 июля. № 198. С. 1.

- ⁴⁶ <Казанский помещик>. Народное хозяйство // Гражданин. 1888. 3 января. № 3. С. 1.
- ⁴⁷ <Серенький>. Маленькие мысли. LXLVII. В деревне // Гражданин. 1899. 9 мая. № 34. С. 4.
- ⁴⁸ Даниельсон Н. Ф. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства (1893) // Народническая экономическая литература. М., 1958. С. 494.
- ⁴⁹ Рындзюнский Г. П. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. М., 1983. С. 263.
- ⁵⁰ Мещерский В. П. Дневник, 25 июня // Гражданин. 1891. 26 июня. № 175 С. 3.
- ⁵¹ Мещерский В. П. Дневник, 10 февраля // Гражданин. 1901. 15 февраля. № 12. С. 19.
- ⁵² Мещерский В. П. Дневник, 28 января // Гражданин. 1900. 30 января. № 8. С. 26–27.
- ⁵³ Мещерский В. П. Дневник, 19 января // Гражданин. 1892. 20 января. № 20. С. 3.
- ⁵⁴ Мещерский В. П. Дневник, 21 июня // Гражданин. 1891. 22 июня. № 171. С. 3. Ср.: <Тамбовский дворянин>. Хлебная монополия // Гражданин. 1892. 16 марта. № 76. С. 1; Шебакин Н. Центральные хлебные склады // Гражданин. 1903. 30 марта. № 26. С. 9–10.
- ⁵⁵ Мещерский В. П. Дневник, 4 января // Гражданин. 1901. 11 января. № 3. С. 18.
- ⁵⁶ Мещерский – С. Ю. Витте, [1895] // РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 1 об 3 об.
- ⁵⁷ Мещерский В. П. Дневник, 6 июня // Гражданин. 1897. 8 июня. № 44. С. 21.
- ⁵⁸ Мещерский – Александру III, 12 июня 1884 // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 108. Лл. 23 об. –24.
- ⁵⁹ Мещерский – Александру III, 3 ноября [1884] // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 108. Лл. 92 об. –93.
- ⁶⁰ См.: <Гвоздев Н.>. Несколько слов о финансовой науке // Гражданин. 1892. № 322, 324–326, 328, 331, 333, 335, 338, 341, 343, 345, 347, 349; <Гвоздев Н.>. Как исправить наше денежное хозяйство // Гражданин. 1893. № 9, 13, 20, 26, 29.
- ⁶¹ В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 17 ноября. № 318. С. 1–2.
- ⁶² В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 19 ноября. № 320. С. 1–2.
- ⁶³ В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 17 ноября. № 318. С. 1.
- ⁶⁴ Степанов М. Плутократия // Гражданин. 1873. 5 марта. № 10. С. 308–318.
- ⁶⁵ Мещерский В. П. Дневник за 1882 год. СПб, 1883. С. 91.
- ⁶⁶ Мещерский В. П. Дневник, 20 сентября // Гражданин. 1885. 22 сентября. № 75. С. 15.
- ⁶⁷ Мещерский В. П. Дневник, 15 июля // Гражданин. 1883. 24 июля. № 30. С. 22.
- ⁶⁸ Мещерский В. П. Дневник, 14 марта // Гражданин. 1892. 15 марта. № 75. С. 3.
- ⁶⁹ Мещерский В. П. Дневник, 13 марта // Гражданин. 1914. 16 марта. № 11. С. 14.
- ⁷⁰ Мещерский В. П. Дневник, 8 октября // Гражданин. 1895. 9 октября. № 278. С 3.
- ⁷¹ Мещерский В. П. Дневник, 10 июля // Гражданин. 1901. 12 июля. № 52. С. 22.
- ⁷² Мещерский В. П. Дневник, 9 июля // Гражданин. 1901. 12 июля. № 52. С. 21.
- ⁷³ Меры к обузданию биржи // Гражданин. 1899. 3 октября. № 76. С. 2–3.
- ⁷⁴ <Серенький>. Деньги или власть? // Гражданин. 1898. 15 января. № 4. С. 5.
- ⁷⁵ Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 67–68, 74, 155.
- ⁷⁶ Зомбарт В. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 2. СПб, 2005. С. 81–82, 102.
- ⁷⁷ Цит. по: Мусихин Г. И. Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). СПб, 2002. С. 88, 200, 204–205.
- ⁷⁸ Интервью В. И. Ленина корреспонденту газеты *The New York Times* 23 апреля 1919 года. (См.: Разговор с главным большевиком // Своими именами. 2013. № 17. 23 апреля. С. 1).

- ⁷⁹ Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 5. Л., 1973. С. 78–79.
- ⁸⁰ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 284, 373, 403, 729.
- ⁸¹ “Рационализм точных и прикладных знаний, – писал Леонтьев, – естественно вступил в теснейший союз с рационализмом капитала”. См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 652.
- ⁸² Леонтьев – К. А. Губастову, 15 марта 1889, Оптина Пустынь // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). С. 438.
- ⁸³ Мещерский В. П. Либерализм и здравый смысл // Гражданин. 1902. 4 апреля. № 26. С. 4.
- ⁸⁴ Достоевский Ф. М. Крокодил (1865) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 189–190.
- ⁸⁵ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 728.
- ⁸⁶ Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М., 2004. С. 602, 605–606.
- ⁸⁷ <Дворянин Я. Б.>. Меры к решению дворянского и сельскохозяйственного кризиса // Гражданин. 1898. 20 сентября. № 74. С. 3.
- ⁸⁸ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 258.
- ⁸⁹ Победоносцев К. П. Сочинения. СПб, 1996. С. 150–152.
- ⁹⁰ Неизвестный Нилус. Т. 1. М., 1995. С. 93–94.
- ⁹¹ Родионов Ю. Поместное дворянство и землевладение // Гражданин. 1885. 7 июля. № 53. С. 10.
- ⁹² Семёнов П. Н. Крестьянское и дворянское землевладение в России // Гражданин. 1898. 10 декабря. № 97. С. 2–8.
- ⁹³ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 254.
- ⁹⁴ Леонтьев – К. А. Губастову, 17 августа 1889, Оптина Пустынь // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). С. 473.
- ⁹⁵ См.: Фетисенко О. Л. “Гептастилисты”. С. 128, 131–133.
- ⁹⁶ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 130, 246, 418.
- ⁹⁷ Правые партии. 1905–1917 г<оды>. Документы и материалы. Т. 1. М., 1998. С. 130, 196, 275, 305.
- ⁹⁸ Обращение Центрального предвыборного комитета правых к русским рабочим (сентябрь 1912) // Правые партии. 1905–1917 г<оды>. Документы и материалы. Т. 2. М., 1998. С. 264–265.
- ⁹⁹ Обращение Союза Русских Людей к заводским и фабричным рабочим по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу (декабрь 1905) // Правые партии. Т. 1. С. 91.
- ¹⁰⁰ Совещание уполномоченных правых организаций и правых деятелей в Нижнем Новгороде 26–29 ноября 1915 года. // Правые партии. Т. 2. С. 509–510.
- ¹⁰¹ Щербатов А. Г. “Обновлённая Россия” и другие работы. М., 2002. С. 75, 139, 166–167, 321.
- ¹⁰² Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 1. 1906–1908 г<оды>. М., 2001. С. 67, 71–72, 80, 83, 472, 491, 578.
- ¹⁰³ Бабецкий А. Интеллигенция или буржуазия // Гражданин. 1905. № 68. 28 августа. С. 7.
- ¹⁰⁴ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 2. Кн. 2. 1911–1912 г<оды>. М., 2001. С. 200.
- ¹⁰⁵ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 3. 1913–1916 г<оды>. М., 2002. С. 262.
- ¹⁰⁶ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 2. Кн. 1. 1909–1910 г<оды>. М., 2001. С. 126. В своей речи о земельном законопроекте и землеустройстве крестьян, произнесённой в Государственной думе 5 декабря 1908 года, П. А. Столыпин сказал ставшие знаменитыми слова: “Главное, что необходимо, – это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых” (см.: Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия... М., 1991. С. 178). Слова эти имели в российском общественном мнении в основном негативный резонанс.
- ¹⁰⁷ Цит. по: Степанов С. А. Чёрная сотня в России. 1905–1914 г<одов>. М., 1992. С. 246.

- ¹⁰⁸ См.: Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за великую Россию. М., 2012. С. 60–74.
- ¹⁰⁹ Степанов С. А. Указ. соч. С. 247, 253.
- ¹¹⁰ Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998. С. 29–31, 233–234.
- ¹¹¹ Меньшиков М. О. Америка и Россия (6 сентября 1916) // Он же. Велико-русская идея. Т. 1. М., 2012. С. 243–244.
- ¹¹² Меньшиков М. О. Дневник 1918 года // Российский Архив. Вып. IV. М., 1993. С. 15–17, 75–78.
- ¹¹³ См.: Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 193, 206, 213.
- ¹¹⁴ См.: Степанов С. А. Численность и состав черносотенных союзов и организаций // Политические партии России в период революции 1905–1907 г<одов>. Количественный анализ. Сборник статей. М., 1987. С. 193; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911–1917 г<оды>. М., 2001. С. 82.
- ¹¹⁵ Задачи русского монархизма (июнь–июль 1914 г<ода>) // Правые партии. Т. 2. С. 425.
- ¹¹⁶ Основные Положения народных монархических союзов (8 мая 1916) // Правые партии. Т. 2. С. 554.
- ¹¹⁷ Степанов С. А. Численность и состав черносотенных союзов и организаций. С. 237.
- ¹¹⁸ Из дневника Л. Тихомирова. 1907 г<од>. // Красный архив. 1933. Т. 6 (61). С. 102–104. Отредактированный Грингмутом и Тихомировым вариант документов IV съезда Объединённого Русского Народа см.: Правые партии. Т. 1. С. 317–333.